

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

1
1990



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

1

1990

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Коровицына Н. В.</i> История культуры ЧССР в послевоенном чехословацком обществоведении: подходы, результаты, проблемы	3
<i>Гудаков В. В.</i> Дипломатическая деятельность Иво Андрича весной 1941 г. и судьба югославского представительства в нацистской Германии	12
<i>Флоря Б. Н.</i> Русско-османские отношения и дипломатическая подготовка Смоленской войны	17
<i>Мельников Г. П.</i> Формирование нового патрициата в Праге (вторая половина XV — первая половина XVI в.)	28
<i>Макарова И. Ф.</i> Этническая проблематика в произведениях болгарского патриарха Евфимия	33
<i>Тимова Л.</i> Русско-чешские художественные связи конца XVIII — первой половины XIX в. (Музыка, театр, изобразительное искусство)	42
<i>Мароевич Р.</i> (СФРЮ). Между Вуком и Пушкиным — переложения сербских народных песен А. Х. Востокова	49
<i>Гиппиус А. А.</i> Из истории взаимодействия региональных изводов церковнославянского в древнейшую эпоху (формы номинатива действительных причастий на <i>-*on/s</i>)	58
<i>Поповска-Таборска Х.</i> (ПНР). Хронология общеславянских фонетических изменений в контексте ранней истории славян	70

СООБЩЕНИЯ

<i>Нещименко Г. П.</i> О ходе многостороннего международного сотрудничества по сопоставительному изучению славянских языков	74
<i>Кабакова Г. И.</i> Новые исследования по семейной обрядности балканских народов	79
<i>Немировский Е. Л.</i> Острожская Библия в монастырских библиотеках Черногории и Сербии	85
<i>Илюшин А. А.</i> С польского на славяно-русский (к проблеме перевода « <i>Sarminum variogum</i> » Симеона Полоцкого)	89

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Костяшов Ю. В.</i> Хрестоматия по истории южных и западных славян. Учебное пособие для вузов в трех томах. Т. I. Эпоха феодализма	96
<i>Кириллова О.</i> Международная конференция «Социальная действительность и литература» (Материалы)	97
<i>Мокиенко В. М.</i> В. Кювлиева-Мишайкова. Устойчивите сравнения в българския език	99

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

<i>Наумов Е. П.</i> Илири и Албанци. Серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године	103
<i>Лабунцев Ю. А.</i> Р. Kennedy Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory	104

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Прокофьева Д. С.</i> Международная конференция «Вторая мировая война в польской и мировой литературе»	106
<i>Мельников Г. П.</i> Конференция, посвященная международным отношениям славян и их соседей в эпоху феодализма	107
<i>Гольцекер Ю.</i> II Конгресс культуры польского языка	109
<i>Хайров Ш. В.</i> Конференция «Синхронное сопоставление славянских языков»	110

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБА,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРЯ

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



КОРОВИЦЫНА Н. В.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ЧССР В ПОСЛЕВОЕННОМ ЧЕХОСЛОВАЦКОМ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ: ПОДХОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ

Общеисторический характер процесса строительства социализма предполагает необходимость изучения всех его взаимосвязанных сфер — политической, социально-экономической, культурной. Анализ совокупности параметров развития общества как системного целого при учете специфики развития каждой из сфер социальной действительности, включая культурную, является объективной основой его исторической периодизации, определения степени завершенности отдельных фаз переходного от капитализма к социализму периода и этапов строительства социализма.

Культурная проблематика традиционно занимала второстепенное положение в исторической, как и в общественной науке в целом, по сравнению с анализом базисных — социально-экономических — факторов общественного прогресса, т. е. по сравнению с изучением развития производительных сил и системы общественных отношений. Вместе с тем исследование самого субъекта общественно-исторического прогресса, как на уровне всего общества, так и на уровне отдельных его социальных структур, или личностном, выходит за пределы изучения его производственно-трудовой деятельности и общественно-политических отношений, в основе которых находится движущая сила всякой практики — сознание, духовная жизнь народа. Анализ конкретного содержания этих категорий, открывающий возможности понимания истории, и составляет цель историко-культурных исследований.

В последние два десятилетия резко возрос интерес обществоведов стран Центральной и Юго-Восточной Европы к проблемам духовной жизни, занявшим одно из центральных мест в изучении многообразных путей перехода от капитализма к социализму.

В данной статье делается попытка рассмотреть ход формирования взглядов и представлений обществоведов ЧССР о предмете и методе изучения сферы культуры, о содержании и направленности ее динамики. Основные черты и тенденции процесса становления теории и истории культуры как самостоятельной отрасли обществоведения ЧССР характерны для развития социальных исследований во всех европейских странах социализма в послевоенный период. Примечательно, что конкретное и теоретическое направления культуроведения, развиваясь в этот период параллельно и относительно независимо друг от друга, не вылились в крупные аналитические исследования процесса социалистического культурного строительства как внутренне целостного и органического в комплексе проблем создания общества нового типа.

Коровицына Наталья Васильевна — канд. ист. наук, младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

Культурная сфера, которая до начала 60-х годов практически оставалась вне поля зрения обществоведов Чехословакии, и в последующем изучалась гораздо менее результативно по сравнению с политической, экономической, социальной, трактуемая в преимущественно отражательном по отношению к ним плане. «Успехи» в осуществлении культурной революции освещались чешскими и словацкими партийными и государственными деятелями [1], а также журналистами и публицистами, главным образом в связи с юбилейными датами на страницах периодической печати [2] и в обзорно-статистических изданиях, имевших по большей части пропагандистский, а не научно-справочный характер [3].

Созданное философами на рубеже 50-х и 60-х годов учение о культурной революции — ее содержании, задачах, периодах, восполняя собой существующий в этой области обществоведения пробел, выполняло функцию не только методологической основы исследования реальных историко-культурных процессов, но и его результата, наконец, функцию практической программы культурного строительства.

На этом этапе чехословацкие исследователи, исходя из решений XI съезда КПЧ (1958), поставившего вопрос о завершении в исторически короткие сроки строительства социализма, связывали выполнение основных задач культурной революции с этапом построения основ социализма. Считалось, что остается лишь довести до конца решение этих задач, так сказать, в количественном отношении [4; 5].

Отношение к культурной революции как к сравнительно кратковременному процессу, завершающемуся с построением основ социализма, после его провозглашения в Чехословакии в 1960 г. сводило по существу всю культурную проблематику к практической реализации политической линии партии и государства, главным образом в сфере достройки материально-институциональной основы социалистической культуры. Стремление привести науку в соответствие с политической практикой не оставляло места для объективного изучения историко-культурного процесса. Оценка социокультурной действительности через призму теории культурной революции явилась причиной неоднократного пересмотра основных положений и выводов этой теории, не говоря об изменении исследователями своего отношения к самой практике культурного строительства.

Первый такой существенный пересмотр произошел уже в начале 60-х годов. Тогда чехословацкие обществоведы отказались от упрощенной трактовки социалистической культурной революции как совокупности конкретных культурно-политических акций по перестройке материально-технической и организационно-правовой основы культуры, унаследованной от капитализма. Такое понимание культурной революции, покоившееся на неподтвердившемся практикой тезисе о том, что решающие задачи качественного преобразования культуры должны и могут быть выполнены уже на этапе построения основ социализма, привело к «серьезным ошибкам не только в теории, но и на практике» [6, с. 175]. Трактовка культурной революции как процесса, завершение которого является делом ближайшего будущего, основывалась на учете благоприятных условий, характерных для Чехословакии, точнее для Чешских земель, а именно развитой системы учреждений культуры, высокого уровня образования населения, особенно чешского, достигнутых при капитализме. Такая трактовка была названа «узкой».

Осознание неэффективности прежнего подхода привело к утверждению в чехословацком обществоведении в 60-е годы нового понимания культурной революции как длительного и сложного процесса всестороннего развития человека, изменения всего образа его жизни. В. Шеда рассматривает культурную революцию как общую закономерность перехода от капитализма к коммунизму, в том числе социалистическую культурную революцию — как ее первую фазу, связанную лишь с построением основ социализма. Вторая — главная и заключительная — фаза культурной революции должна соответствовать периоду построения самого коммунистического общества. Культурная революция коммунизма, считает В. Шеда, решает задачи всестороннего развития творческих сил и

способностей человека: «Лишь такое широкое понимание культуры и культурной революции, непривычное для теоретических рассуждений наших ученых, может и должно быть исходной основой изучения культурной революции у нас и в любой другой стране» [7].

XIII (1966) съезд КПЧ определил социалистическую культурную революцию как долговременный процесс, связанный с развернувшейся в этот период научно-технической революцией.

Общественно-политический кризис 1968—1969 гг. в Чехословакии стал практическим подтверждением нерешенности там целой группы задач, относящихся к сфере «качественной» перестройки культуры. Ключевое значение в решении их в первой половине 70-х годов отводилось формированию идейно-политической ориентации населения.

Современная интерпретация социалистической культурной революции исходит из оценки периода после XIV (1971) съезда КПЧ как ее нового высшего этапа, как неотъемлемой составной части программы строительства в Чехословакии развитого социалистического общества [8]. Подводя итоги 40-летнего развития чехословацкого общества в условиях строительства социализма, XVII (1986) съезд КПЧ констатировал успешное выполнение задач культурной революции, повышение уровня образования и профессиональной подготовленности трудящихся [9].

Оценки хода и итогов культурной революции обществоведами — историками и философами ЧССР, — в большинстве своем словацкими, в 70—80-е годы менее однозначны. Расширились представления ученых о тех задачах, решение которых составляет содержание первого этапа социалистической культурной революции, а соответственно и о его сроках.

Период построения основ социализма определяется чехословацкой наукой теперь уже как этап главным образом не качественных, а количественных изменений в сфере культуры, ее экстенсивного развития [10, с. 347]. На этом — первом — этапе социалистической культурной революции преобразуется материальная база культуры, создаются институциональные и юридические основы воспитания нового человека [11, с. 318], предпосылки, условия ее второго и главного этапа [12, с. 60; 13, с. 7]. К числу этих условий относится не только сама демократизация системы распространения культурных ценностей, но и ее следствие — рост культурного уровня населения как результат внесения культуры в массы и ее пока лишь «пассивного освоения» ими [14, с. 468]. Первый этап культурной революции, завершающийся с построением социализма, Д. Гайко называет этапом демократизации потребления культурных ценностей, временем, когда происходит расширение круга людей, освоивших ценности мировой культуры, этапом «радикального изменения возможностей восприятия окружающей действительности» [15]. Причем унаследованный от капитализма культурный потенциал общества предопределяет специфику культурной революции в той или иной стране, особенно на первом этапе ее осуществления [16; 17].

Целью второго этапа социалистической культурной революции исследователи ЧССР считают превращение каждого члена общества во всесторонне развитую личность, т. е. качественное изменение самого субъекта общественно-исторического процесса [14, с. 468]. В отличие от первого этапа, на втором осуществляется демократизация уже не потребления, а создания, творчества, реализации освоенных культурных ценностей как основа преобразования социальной действительности человеком [12, с. 60].

Некоторые авторы толкуют содержание первого — современного — этапа социалистической культурной революции еще шире. Так, по мнению М. Грушковца [18] этот период включает и формирование марксистско-ленинского мировоззрения как идейной основы складывающейся социалистической культуры у подавляющего большинства населения [19, с. 173—174]¹. Уже на этой основе на втором этапе социалистической культурной революции будет формироваться личность нового типа.

¹ К числу последовательных сторонников научного марксистско-ленинского мировоззрения, по результатам социологических обследований населения ЧССР на-

М. Грушковец отдает должное продолжительности первого этапа конституирования социалистической культуры, который «продолжается гораздо дольше» по сравнению с перестройкой других сфер общества и «как правило отстает по времени от изменений в экономике и политике» [19, s. 190—194].

В целом в 80-е годы чехословацкие обществоведы пришли к выводу о том, что процесс формирования социалистической культуры «с временной точки зрения далеко превосходит рамки переходного периода от капитализма к социализму» [16, s. 179]. Не завершен он и в ЧССР [11, s. 318]. Решение ряда важнейших задач, связанных со сближением культурных характеристик работников умственного и физического труда, здесь еще даже не начиналось, считает М. Бружек [6, s. 166].

Как признает М. Барновский, проблема периодизации социализма, соотнесения хронологических рамок периода построения основ социализма и переходного периода, вышедшая с начала 70-х годов на передний план обществоведения в ряде социалистических стран, прежде всего в СССР и ГДР, не получила должного теоретического осмысления в ЧССР [20, s. 144]. Малорезультативными, на наш взгляд, оказались и рассмотренные выше попытки периодизации историко-культурного процесса через призму теории культурной революции, предпринимавшиеся в течение прошедших трех десятилетий сначала чешскими, а в 70—80-е годы преимущественно словацкими обществоведами. Стало очевидным, что формирование социалистического типа культуры не происходит автоматически в ходе социалистической революции. Необходимым условием его является достижение определенного состояния развития культуры, не только количественного, но и качественного, развития не только ее материального — институционально-организационного — фундамента, но и самого человека, духовного начала всей его общественно-исторической практики.

Несостоятельность подхода к оценке динамики общественного развития через призму моделей и схем, доставшихся чехословацкому обществоведению в наследство от 50-х годов, которые не просто упрощают и спрямляют это развитие, а подменяют желаемым действительное, доказана всем ходом послевоенной социокультурной истории страны и в особенности событиями 1968—1969 гг. Духовная жизнь общества предстает в рассмотренных выше работах всего лишь как заранее заданный результат осуществления программ, с помощью которых проявляются общеизвестные закономерности, а не как основа их изучения. Оторванные от реальной практики, не опирающиеся на ее научный анализ, такого рода программы развития общества несут печать субъективизма и волюнтаризма, свидетельствуют об отсутствии целостной концепции культурной политики, порождают ее практицизм, увлечение административными методами, особенно характерные для 50-х — начала 60-х годов в Чехословакии, оборачиваются, наконец, стихийностью культурного развития, отчетливо проявившейся там в конце 60-х годов [13, s. 11; 21, s. 202; 22; 23, s. 260].

Изучение процессов развития послевоенной культуры чешскими и словацкими историками по существу ограничено в этих условиях культурно-политической проблематикой. Предметом их исследования стал даже не столько ход и результаты осуществления культурной политики партии и государства, т. е. культурно-политическая практика, сколько ее программа, идеологическая платформа, конкретные меры и мероприятия по ее реализации с целью трансформации духовной жизни общества. Обратившись в первой половине 60-х годов к этому кругу вопросов, историки ЧССР сосредоточили основное внимание на изучении политики КПЧ, направленной на демократизацию системы управления сферой культуры в 1945—1948 гг. в условиях перерастания национально-демократической революции в социалистическую [24].

чала 80-х годов, принадлежало около пятой части опрошенных, в целом «принимает» его почти половина чехов и словаков.

Во второй половине 60-х годов исследования этого периода пополнились анализом важнейшего социального компонента социалистического общества — интеллигенции — ее структуры, численности, политических ориентаций и отношения к КПЧ [25].

В 1968 г. в Праге вышла первая крупная монография по истории культуры Чехословакии периода социализма [26]. Используя широкую фактографическую основу, ее автор — Я. Кладива — воссоздал целостный процесс демократизации отдельных сфер культуры через анализ конкретных программ и акций КПЧ, предпринятых в 1945—1948 гг. В следующие два десятилетия появляется уже целый ряд монографических исследований культурно-политической линии КПЧ на различных этапах послевоенной истории страны.

Провозглашенный на XIV съезде КПЧ в 1971 г. курс партии на новый этап строительства социализма в ЧССР существенно актуализировал проблематику развития культуры как его неотъемлемой составной части. В 70-е годы значительно расширился круг чехословацких обществоведов, занимающихся вопросами культурного строительства, прежде всего за счет историков — специалистов в области культурной политики КПЧ. Тогда же сложилась институциональная основа исследования этой проблематики. Основными его центрами стали учреждения системы партийно-политического просвещения — Институты марксизма-ленинизма ЦК КПЧ и ЦК КПС, ВПШ ЦК КПЧ, а также университеты (Пражский, Кошицкий и др.), пражский и братиславский Институты культуры министерского подчинения. В меньшей степени развивались работы по проблемам культуры в академических институтах исторического профиля. По сравнению с 60-и годами центр тяжести исследований этого главного направления исторического культуроведения в ЧССР в целом сместился из Чешских земель в Словакию.

Во второй половине 70-х — первой половине 80-х годов выходит серия монографий, посвященных анализу культурной политики Коммунистической партии Чехословакии [11; 21; 27]. Их авторов объединяет интерес преимущественно или исключительно к культурным процессам, происходившим в разные периоды истории КПЧ и социалистического государства на территории Словакии, в связи с необходимостью преодоления исторически сложившегося отставания ее от ЧСР.

Эти труды основаны на традиционной схеме — от общей характеристики содержания и направленности культурных преобразований к описанию их проявления в отдельных сферах культуры, прежде всего в системе образования и просвещения, науке и искусстве. Они содержат данные о состоянии и развитии материальной базы культуры, о характере и изменении ее институциональной организации в ходе социалистического строительства. Картина функционирования сети учреждений культуры дополняется характеристикой результатов их деятельности в виде совокупности идейно-политических, научных и художественных ценностей, распространяемых среди населения. Таким образом явно преобладает представление об однонаправленности «нисходящего» — от общества к личности — движения культурных ценностей.

По аналогичной схеме строятся издания обзорно-справочного характера, содержащие статистическую информацию о развитии чешской и словацкой культуры в послевоенный период [28], главы по культуре в коллективных трудах по послевоенной истории Чехословакии, вышедших в 80-е годы [10; 29]. Эти главы традиционно заключают описание процессов политического и социально-экономического развития страны на отдельных этапах ее истории. Историческое культуроведение сохранило свое периферийное положение в системе общеисторических исследований, так и не выйдя за рамки описания суммы направлений культурной политики партии и мер по ее реализации в отдельных сферах культуры. Чешские историки делают неутешительный вывод: «Современный уровень историографии чешской и словацкой культуры послевоенного периода можно охарактеризовать пока как весьма несистематическое и раздробленное изучение без ясной программы и соответствующей теоретико-ме-

тодологической концепции» [30, s. 851]. В качестве первостепенной по важности ставится ими задача определения предметной сферы историко-культурных исследований, адекватной современному уровню развития теории культуры [30, s. 852].

Неудивительно, что одна из немногих попыток объективного изучения историко-культурного процесса в послевоенной Чехословакии принадлежит специалисту в области теории культуры М. Бружеку.

Его книга [31] продемонстрировала сложность и многогранность этой проблематики, нуждающейся в углубленном научном исследовании.

Философское культуроведение в Чехословакии, зародившись, как и историческое, в 60-е годы, сформировалось за два десятилетия в новую общественно-научную дисциплину — марксистско-ленинскую теорию культуры. Проследим основные вехи этого пути.

В 1965 г. в Праге вышла книга Р. Гембалы [32]. Предметом изучения культуроведения, согласно концепции Р. Гембалы, впоследствии получившей название деятельностной, является предметно-практическая деятельность человека, прежде всего трудовая. Преобразуя окружающую природную действительность, человек одновременно в процессе труда культивирует свою собственную природу, происходит развитие человеческого сознания.

Сторонники такой концепции культуры, появившейся во второй половине 60-х годов и в советской философской науке (Э. С. Маркарян, М. С. Каган и др.), взяли на вооружение один из базисных тезисов марксизма о том, что развитие и совершенствование сознания человека происходит в процессе конкретной общественной практики. По существу тогда были заложены основы теории культуры, но главное, было обосновано значение субъективного — человеческого — фактора общественного развития. Культурный процесс стал рассматриваться как одна из его важнейших составных частей. Приняв деятельность человека — субъекта общественно-исторической практики — в качестве центрального элемента культурного процесса, Р. Гембала связал решение его основных задач в условиях социализма с устранением противоположности умственного и физического труда.

Понимание культуры как активного, живого воздействия человека на окружающую действительность вошло в середине 60-х годов в чехословацкую общественную науку и через работы М. Бружека. Социально-созидательную функцию культуры он связал не только с трудом, но и с человеческой деятельностью в системе общественных отношений, а коммунизм в широком смысле с гуманизмом [33].

В 70-е годы в ЧССР вышло несколько монографий по теории культуры, обозначивших следующий крупный шаг в оформлении ее как отдельной отрасли философского знания [12; 17; 34]. Попытки чешских, а затем и словацких философов определить содержание феномена культуры, выработать ее научное определение были неотделимы от оппозиции традиционному представлению о культуре лишь как о совокупности материальных и духовных ценностей общества. В центре их внимания находился человек, его общественно-историческая практика. В книгах М. Громадки, В. Шеды и Л. Гавлика культура определялась как форма предметной активности человека, как общественная деятельность человека, прежде всего трудовая, посредством которой он преобразует окружающую его природную действительность и собственную социальную сущность. С проблематикой человека, его способностью и возможностью воздействовать на свое бытие связывает основные аспекты философского культуроведения Д. Гайко; отношение «человек — культура» рассматривается в качестве центрального в теории культуры М. Буковским [34].

Во второй половине 70-х годов чехословацкая философская мысль обогатилась новыми подходами к феномену духовной культуры, выработанными в СССР. Оставляя в центре внимания человека, его деятельность, определение культуры как процесса духовного освоения им действительности существенно расширило представления философского культуроведения. Была заложена теоретико-методологическая основа изучения кон-

кретных социокультурных процессов как комплексного междисциплинарного направления современной науки.

На рубеже 70—80-х годов в ЧССР в основном завершился процесс формирования теории культуры, отмеченный появлением двух монографий М. Бружека [6; 35]. Предмет исследования теории культуры М. Бружек видит в «изучении закономерностей развития культуры как процесса преобразования мира и развития способностей человека» [6, s. 250]. Речь идет о познании и преобразовании человеческой личностью природной и общественной действительности в ходе всех видов ее социальной активности. Не только деятельность, отношения, но и сам человек, его способности, отраженные в характере духовного освоения им окружающей действительности, в 80-е годы попали в поле зрения исследователей. Резко расширились представления о предмете и методе изучения конкретных культурных процессов, как в структурном, так и в генетическом плане.

Важнейшим средством преодоления отставания исторической науки от потребностей общественной практики М. Барновский считает ее «очеловечивание», подразумевающее прежде всего расширение ее предметной сферы [20, s. 141—146]. Она должна включать, по мнению М. Барновского, не только освещение политической линии КПЧ, но и процессов и результатов ее реализации, поскольку преобладавшее прежде изучение общественной действительности преимущественно «сверху», зачастую не давало необходимой глубины проработки материала. Внимание ученых к исследованию роли субъективного фактора в истории строительства социализма подразумевает поворот обществоведов лицом к человеку как субъекту всех форм социальной практики. Только в таком случае общественная наука сможет дать ответ на многие вопросы, выдвигаемые современностью.

Необходимость комплексного подхода к изучению исторического процесса, предполагающего анализ совокупности параметров политической, социально-экономического и культурного развития, осознана словацкими учеными. Авторы серии коллективных трудов по истории строительства социализма в Словакии, вышедших там на рубеже 70—80-х годов [13; 23; 36; 37], констатируют слабую разработанность проблем социально-политической и особенно культурно-идеологической сфер социалистического общества, процессов их развития. Тезис о завершении в Чехословакии переходного периода от капитализма к социализму к началу 60-х годов рассматривается как результат односторонней — экономической — оценки результатов строительства социализма в 50-е годы. Вместе с тем, считают словацкие историки, задачи переходного периода в культурно-идеологической сфере к этому времени выполнены не были [13, s. 8; 36, s. 270]. Исходя из принципа целостности развития общества, вопрос об определении верхнего хронологического рубежа переходного периода в ЧССР авторы этих трудов считают открытым.

Ориентация на изучение культуры в общем контексте политических и социально-экономических процессов строительства социализма тесно взаимосвязана с необходимостью преодоления односторонних подходов к самой культурной проблематике. Распространение марксизма-ленинизма как идеологии рабочего класса представляет собой революционный переворот в развитии мировоззренческой основы культуры, однако формирование ее социалистического типа как целостности связано с полной ее перестройкой, подразумевающей складывание качественно новой системы отношения человека к окружающей его природной и общественной действительности, к целям и смыслу собственного существования [38].

Отношение к мировоззренческой составляющей культуры как центральной создает основу комплексности изучения последней. Происходящий в настоящее время процесс формирования научно-материалистического мировоззрения из религиозных и философско-идеалистических систем классового общества пока далек от своего завершения, считает Й. Мужик [39].

Неоспоримая для современного чехословацкого обществоведения истина о длительности и сложности процессов формирования культуры со-

диалистического типа предполагает знание ее исследователем объективного состояния и динамики философского, этического, научного, эстетического сознания отдельных социальных групп населения.

Процесс становления истории культуры как «сквозного» направления обществоведения имеет ярко выраженный междисциплинарный характер. Перед историками стоит задача развития контактов с представителями ряда других общественно-научных дисциплин — социологами, демографами, этнографами, искусствоведами и другими, — предметом исследования которых является структурно-содержательный аспект функционирования культуры в обществе. Изучение процессов и явлений культуры в этой плоскости, так же как и в исторической, находится в стадии становления. Эмпирическая направленность наук «социологического цикла» пока преобладает.

Зародившаяся во второй половине 60-х годов чехословацкая социология культуры, представленная главным образом социомпирическими обследованиями духовного, прежде всего эстетического, потребления населения, в 70-е годы была поставлена на прочную организационно-институциональную основу. Базовыми учреждениями в этой области стали пражский и братиславский Институты культуры, развернувшие в этот период широкие программы конкретно-социологических исследований. Выдвинувшаяся с начала 70-х годов на передний план словацкая социология и история культуры была ориентирована на изучение проблем подъема культурного уровня населения СССР.

В середине 70-х годов исследования по социологии культуры были включены в «Единую программу развития общественных наук» и начался постепенный переход от публикации результатов социомпирических обследований в виде лишь их итоговых отчетов, содержащих первичную информацию, к попыткам анализа ее на страницах журналов (словацкая «Sociologie» и чешский «Sociologický časopis») и проблемных сборников [19; 40]. Судя по содержащимся в этих изданиях материалам, чехословацкая социология культуры на сегодняшний день не преодолела этапа достаточно раздробленных исследований, лишённых единой методологической основы. Отдельные структурные элементы и явления культуры, среди которых НТР, нравственная и эстетическая культура, культура труда, образ жизни и другое, анализируются схематично, преимущественно в философско-нормативном аспекте, в отрыве от их реального состояния и динамики в системе общества. Развиваясь в рамках отраслевой науки, социология культуры ЧССР нацелена главным образом на решение задач социально-экономического планирования и прогнозирования, а не на объективное научное изучение самой социокультурной действительности.

В современных условиях, когда на основе исторического и социологического культуроведения формируется новое направление социального знания — историческая социология культуры, — когда наука начала обращаться к реальному состоянию сферы общественного сознания, открываются возможности исследования объективной сущности и хронологии историко-культурных процессов и явлений во всем их содержательном многообразии.

ЛИТЕРАТУРА

1. KSC o úlohach kulturní revoluce. Sborník projevů a dokumentů. Bratislava, 1959.
2. Muntág E. Kultúrna revolúcia a sjazd socialistické kultúry. Martin, 1959; Jakubiček M. 15 let kultury v Lidově Demokratickém Československu. Brno, 1960.
3. Deset let rozvoje národního hospodářství a kultury Československé Republiky 1945—1955. Praha, 1956; Rozvoj kultury v CSR. Praha, 1959; Slovensko 1945—1957. Hospodářský a kulturní rozvoj. Bratislava, 1958; Slovenská kultura 1945—1965. Bratislava, 1965.
4. Pštr B. O kulturní revoluci.— Sborník prací FF Brněnské univerzity 1959, řada sociálněvědná, č. 3.
5. Huláková M. O kultuře a kulturní revoluci. Praha, 1963.
6. Brůžek M. Vznik a vývoj marxisticko-leninské teorie kultury. Praha, 1984.
7. Šeda V. K některým otázkám socialistické kulturní revoluce v Československu.— In: O politice KSC pri dovršování socialistické výstavby. Praha, 1962, s. 79.

8. *Klusík M.* 40 let československé socialistické kultury.— *Nová mysl*, 1985, № 5, s. 93.
9. XVIII съезд Коммунистической партии Чехословакии. Прага. 24—28 марта 1986 г. М., 1987, с. 216.
10. K dějinám socialistického Československa. Praha, 1986.
11. *Grešík L.* Kulturní politika KSS v období dobudování základů socialismu 1956—1960. Bratislava, 1984.
12. *Hajko D.* Filozofia a socialistická kultúra. Bratislava, 1979.
13. Rozvíjanie socializmu na Slovensku v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Bratislava, 1979.
14. *Salgovičová J.*— Clovek — kultura — spoločnosť.— *Filozofia*, 1983, № 4.
15. *Hajko D.* Kulturná revolúcia a budovanie rozvinutého socializmu.— *Nová mysl*, 1983, № 12, s. 128.
16. *Ůram P.* Rozvoj československé kultury v prvej etape socialistické kulturní revoluce.— *Zborník prac Uč UML UPJS*, 1982, № 9.
17. *Hromádka M.* Státní řízení kultury. Praha, 1975.
18. *Hrušková M.* Kulturní politika. Bratislava, 1987.
19. Kultura a spoločnosť. Bratislava, 1986.
20. *Barnovský M.* Ključové otázky výskumu dejín výstavby a rozvoja socializmu.— *Historický časopis*, 1987, № 1.
21. *Paluda S.* O kulturnej politike KSC. Bratislava, 1979.
22. *Seda V.* Ke zdrojům oportunizmu a revizionizmu v oblasti kultury.— *Nová mysl*, 1971, № 4, s. 586; *Kanis P.* K niektorým otázkam genézy koncepcii rozvoja československé spoločnosti po vybudovaní základov socializmu.— *Historický časopis*, 1981, № 3.
23. K niektorým otázkam budovania socializmu. Bratislava, 1982.
24. *Kladiva J.* Kulturní a ideologická činnost KSC v období jejího VIII. sjezdu.— *Příspěvky k dějinám KSC*, 1965, s. 531—554; *Grešík L.* Prvé kroky kulturnej revolúcie na Slovensku a 1. zjazd umelcov a vedeckých pracovníkov v auguste roku 1945.— *Československá revoluce v letech 1944—1948*. Praha, 1966; *Seda V.* Boj KSC za revoluční změny v oblasti kultury v letech 1945—1948.— *Příspěvky k dějinám KSC*, 1961, s. 352—380; *Varišková M.* Kulturní politika slovenských komunistů v prvom roku po oslobodení.— *Příspěvky k dějinám KSC*, 1966, s. 514—532; *Škaloud J.* Tvorba predpokladov pre kulturné premeny v CSR v rokoch 1945—1948.— *Sborník FF Univerzity Komenského, marxismus-leninismus*, 1965, r. 15.
25. *Maňák J.* Početnost a struktura české inteligence v letech 1945—1948.— *Sociologický časopis*, 1967, № 4, s. 398—409; *Maňák J.* Problematika odměňování české inteligence v letech 1945—1948.— *Sociologický časopis*, № 5, s. 529—540; *Kladiva J.* Inteligence v únoru 1948.— *Dějiny a současnost*, 1967, № 1.
26. *Kladiva J.* Kultura a politika. Praha, 1968.
27. *Mravík J.* Kulturní politika socialistického státu. Bratislava, 1978; *Grieš O.* 60 rokov kulturnej politiky KSC. Bratislava, 1981; *Grešík L.* Slovenská kultura v revolúcii 1944—1948. Bratislava, 1977; *Grešík L.* Slovenská kultura v začiatkoch budovania socializmu 1948—1955. Bratislava, 1980; *Paluda S.*, *Čunderlík K.*, *Bölenbruch S.* Súčasná kulturná politika. Bratislava, 1984.
28. Třicet let rozvoje československé socialistické kultury. Praha, 1978; *Kulturní rozvoj Slovenska. Retrospektiva do roku 1970*. Bratislava, 1974; *Kovář M.* Rozvoj kultury v Československu v letech socialistické výstavby. Praha, 1978.
29. Dějiny socialistické kultury. Sv. 4, Praha, 1981; *Brabec V.* Budování socialistického Československa. Praha, 1986.
30. *Felcman O.*, *Mlýnský J.*, *Pechůček L.*, *Slezák L.*, *Verbík A.* Období budování základů socialismu v Československu a jeho odraz v naší historiografii.— *Československý časopis historický*, 1986, № 6.
31. *Brůžek M.* Kultura v revolučních přeměnách společnosti 1945—1976. Praha, 1979.
32. *Gembala K.* Práce a kultura. K dialektice objektivních a subjektivních stránek vývoje společnosti. Praha, 1965.
33. *Brůžek M.* Humanismus kultury a kultura humanismu.— *Nová mysl*, 1965, № 9.
34. *Seda V.*, *Gawlik L.* Maxisticko-leninské pojetí kultury. Praha, 1973; *Bukovský M.* Kultura a ideologický boj. Praha, 1978.
35. *Brůžek M.* Úvod k teorii kultury. Praha, 1980.
36. Slovensko v období dobudovania základov socializmu (1956—1960). Bratislava 1978;
37. KSC a budovanie socializmu na Slovensku v 60. rokoch. Bratislava, 1984.
38. *Brůžek M.* Teorie kultury a společenské vedy. Praha, 1986, s. 26—27.
39. *Mužik J.* Filozofie — světový názor — společnost. Praha, 1986.
40. O rozvoji socialistické kultury. Bratislava, 1987.



ГУДАКОВ В. В.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВО АНДРИЧА ВЕСНОЙ 1941 Г. И СУДЬБА ЮГОСЛАВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Одной из малоизвестных и трагичных страниц европейской дипломатии в годы второй мировой войны является судьба югославской дипломатической миссии в нацистской Германии.

В данной статье автор попытался проследить, какие усилия прилагал глава югославского дипломатического представительства в нацистской Германии известный югославский писатель Иво Андрич для предотвращения агрессии против Югославии, а затем для спасения задержанных нацистами на территории рейха югославских дипломатов.

После подписания правительством Цветковича-Мачека, вопреки воле югославского народа, протокола к Тройственному пакту, вовлекавшего Югославию в орбиту фашистских государств, в стране 27 марта 1941 г. произошел переворот, который возглавил генерал авиации Душан Симович.

На следующий день после переворота новый премьер Д. Симович, высоко ценивший И. Андрича, прислал ему телеграмму с просьбой прибыть в Белград для консультаций. 29 марта Андрич поставил об этом в известность государственного секретаря германского МИД Э. Вайцзеккера, подчеркнув, что его временный отъезд в Белград необходим для уточнения позиции нового правительства в отношении Германии, так как сложившаяся в Югославии ситуация должна рассматриваться в аспектах как внутренней, так и внешней политики, которые нельзя отделять один от другого. Андрич выразил убежденность в том, что «Белград будет действовать без всяких промедлений и просил Берлин набраться терпения». Югославский посланник обещал вернуться в Берлин не позднее 2 апреля, заверив Вайцзеккера в том, что использует свою поездку для того, чтобы Югославское правительство как можно скорее сформулировало ясную политику в отношении Германии. Андрич также выразил уверенность в том, что новое правительство сможет контролировать ситуацию в стране. Молча выслушав Андрича, госсекретарь выразил сожаление по поводу «недружелюбных антигерманских действий в Югославии» [1, с. 537—538; 2, р. 622—623].

В Белграде Андрич был проинструктирован министром иностранных дел М. Нинчичем. Возвратившись в Берлин, он должен был вступить в контакт с руководителями германского министерства иностранных дел и сообщить им о готовности югославского правительства начать переговоры с целью заключения приемлемого соглашения. Андричу предписывалось в случае необходимости пойти на уступки, «совместимые с национальным достоинством» [3, р. 284; 2, р. 664; 1, с. 538].

3 апреля 1941 г. югославский посланник вернулся в столицу рейха

Гудаков Владимир Викторович — канд. ист. наук, преподаватель Ростовского-на-Дону государственного педагогического института.

с текстом ноты для передачи А. Гитлеру. В ноте, текст которой был опубликован в тот же день в американской газете «New York Times», говорилось следующее:

1) Югославия даже в этот час все еще надеется любой ценой сохранить свой нейтралитет, но не за счет принесения в жертву своей независимости и целостности.

2) Югославия не имеет ничего против предоставления в распоряжение третьей империи своих железных дорог для перевозок продуктов питания и сырья, однако о провозе военного снаряжения и войск не может быть и речи.

3) Югославия, как прежде, желает сотрудничать с Германией.

4) Югославия никогда не будет воевать с Германией до тех пор, пока не подвергнется агрессии, но окажет сопротивление любому неспровоцированному нападению.

5) В конечном счете Югославия будет соблюдать все „публичные и открытые“ обязательства в отношении всех своих соседей и выражает готовность обсудить все спорные вопросы с соседними державами в любое время» (цит. по [2, р. 664]).

4 апреля английский корреспондент «Press Exchange Telegraph» сообщил из Афин о том, что «югославский посланник был принят Гитлером и предметом беседы было возможное возобновление прерванных переговоров» (цит. по [2, р. 664]). Эта информация, по мнению итальянского историка А. Бреччи, «была лишена, разумеется, какого-либо основания, но тем не менее показывала направленность действий югославского правительства» [2, р. 664]). Андрич не смог попасть на прием не только к Гитлеру, но и к госсекретарю Вайцзеккеру, несмотря на несколько попыток. Причину этого вскрывает запись в дневнике Вайцзеккера, сделанная 6 апреля 1941 г.: «Последние два дня югославский посланник Иво Андрич неоднократно пытался побеседовать со мной. Я не принял его в соответствии с указанием» [4].

Безуспешными оказались попытки Андрича увидеть хоть кого-либо из официальных лиц германского министерства иностранных дел.

О чувствах, волновавших в те дни главу югославской дипломатической миссии, пишет в своих воспоминаниях В. М. Бережков: «Посланник Андрич, всегда сдержанный и внешне спокойный, на этот раз не мог скрыть волнения. Он понимал, что замышляют гитлеровцы и что не сегодня-завтра его страна подвергнется нападению. „Что им еще от нас нужно? — с горечью говорил Андрич. — Мы их не трогаем. Вся эта история с „преследованием“ немецкого меньшинства подстроена от начала и до конца. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но им мало того, что они уже захватили в Европе. Они жаждут и нашей крови. Но немцы напрасно рассчитывают, что им это сойдет с рук. Наш народ не покорится. Мы не прекратим борьбу даже если им удастся оккупировать нашу страну. Они дорого за это заплатят...“» [5, с. 40].

В такой безвыходной ситуации Андрич обратился к итальянскому послу в Берлине Д. Альфиери, которому он высказал свое глубокое сожаление по поводу того, что «проявление доброй воли со стороны югославского правительства для мирного урегулирования ситуации» не находит одобрения у германского правительства. Андрич выразил убежденность в том, что налаживание отношений еще возможно, его правительство готово к обсуждению и он уверен в его благоприятном исходе [1, с. 538; 2, р. 667—668]. Югославский посланник подчеркнул, что «во время своего пребывания в Белграде он смог лично убедиться в значительном несоответствии действительного положения вещей и версии, распространяемой немецкой прессой», относительно инцидентов с немецкими гражданами. Альфиери все это выслушал «очень сдержанно» и после беседы поспешил сообщить о ее содержании Й. фон Риббентропу. Кстати сказать, Альфиери принял Иво Андрича только после получения официального разрешения из Рима [2, р. 668].

Около 17 часов 5 апреля 1941 г. заведующий дипломатическим протоколом в германском министерстве иностранных дел барон фон Дёрн-

берг вручил Андричу его паспорт, что означало завершение его миссии в Берлине. Риббентроп, принимавший в это время японского посла, высказал последнему лицемерное сожаление по случаю этого акта, заявив, что такое решение германского правительства было вынужденно и его было тяжело принимать «с гуманной точки зрения» [2, р. 679].

Утром 6 апреля Белград подвергся варварской бомбардировке, которая с небольшими перерывами продолжалась 3 дня.

В этот же день руководитель Службы безопасности (СД) В. Шелленберг подписал секретную телеграмму начальникам службы безопасности и пограничным инспекторам следующего содержания: «Относительно Югославии и Греции. С настоящего момента закрыть государственные границы для югославских и греческих подданных. Этот приказ действителен также для дипломатов. В том случае, если будут задержаны дипломаты, сообщить молнией по телеграфу» [6, д. 130, л. 2].

Приказ Шелленберга, основанный на распоряжении Риббентропа, был выполнен.

После окончания второй мировой войны оставшиеся в живых представители югославского дипломатического и консульского корпуса в Германии написали в МИД Югославии письмо, в котором говорилось, в частности, следующее: «В процессе начавшихся военных действий в 1939—1941 гг. все воюющие стороны разрешили свободный выезд из страны дипломатическим и консульским представителям вражеских стран. Так поступили Англия, Франция, Россия, США и Югославия... Единственным исключением была Германия. Это была единственная страна в мире, которая задержала консульских представителей, а именно югославских, и намеренно не разрешила им покинуть германскую территорию. Это действие Германской империи несомненно является одним из самых больших нарушений международного права и международных традиций, которые почитались в течение столетий» [6, д. 130, л. 14].

По крайней мере в двух довоенных соглашениях оговаривалась неприкосновенность дипломатического и консульского персонала в случае военного конфликта между Германией и Югославией, а именно «согласно статье 29 договора, относящегося к торговле и судоходству между Королевством сербов, хорватов и словенцев и Германией и датированного 6 октября 1927 года, и статье 9 консульской конвенции, подписанной Королевством Югославии и Германской империей и датированной 1 мая 1934 г., в случае возникновения состояния войны между двумя странами, их дипломатическому и консульскому персоналу должен быть позволен свободный выезд из страны пребывания» [6, д. 179 л. 5]. Эти соглашения были бесцеремненно нарушены нацистами.

Утром 6 апреля Андрич был вызван к Дёрнбергу, который заявил, что вследствие разрыва дипломатических отношений между двумя государствами дальнейшее пребывание в Германии югославских дипломатических и консульских представителей является нежелательным. Они обязаны в течение 24 часов отбыть из Берлина в город Констанц на швейцарской границе и ожидать там дальнейших распоряжений. Андричу было также сказано о том, что в Констанц придут югославские дипломаты с оккупированных территорий Франции, Бельгии, Голландии и протектората Богемия и Моравия [7, р. 55].

Ночь с 6 на 7 апреля весь состав дипломатического представительства провел в отеле «Континенталь» под наблюдением гестаповцев. 7 апреля на специальном поезде весь персонал миссии был отправлен в Констанц. В Берлине остался только К. Костич, который должен был ввести в курс дела швейцарского посланника Г. Фрелихера, согласившегося представлять югославские интересы в третьем рейхе [7, р. 55].

Продержав югославов в Констанце несколько дней, нацисты переправили их затем в отель «Бад Шахен» возле Линдау, в Баварских Альпах, где они и находились до конца мая. В отеле были размещены 200 человек дипломатического и консульского персонала со своими семьями под постоянным полицейским надзором. «Условия, подобные тюремным», а также опасения за свое будущее вызвали заболевания: серьезно забо-

тели четыре консульских представителя, о чем Андрич немедленно известил германские власти [7, р. 56—57].

В середине мая немцы «вспомнили» о находившихся под домашним арестом югославах. В германский МИД поступило сообщение об их пребывании в отеле «Бад Шахен». В сообщении содержались просьба решить дальнейшую судьбу югославских консульских и дипломатических представителей и рекомендации, как можно решить этот вопрос. Суть их сводилась к тому, чтобы часть людей передать в руки гестапо «вследствие подозрений в саботаже и антигерманской деятельности», часть же отправить на родину, но обязательно под полицейский надзор [7, р. 57]. Узнав о существовании такого донесения с рекомендациями, Иво Андрич заявил письменный протест, но Шляйниц, приставленный к югославам, отказался его принять и передать немецким властям (см. [7, р. 58—59]).

О судьбе задержанных в рейхе соотечественников беспокоилось югославское правительство, находившееся к этому времени (т. е. к середине мая 1941) в эмиграции в Лондоне. Через посланника в Берне оно обратилось к Ватикану с просьбой узнать о судьбе своего дипломатического и консульского персонала в Германии и «оказать содействие в получении от немецких властей разрешения югославским дипломатам добратсья через Швейцарию до Португалии» [8, № 344, р. 489]. Папский нунций в Берлине Орсениго по поручению кардинала Мальоне сделал запрос с целью выяснения судьбы югославского дипломатического персонала. Немецкие власти сообщили в ответ, что он будет репатрирован в Югославию [8, № 350, р. 493]. На повторный запрос германское правительство заверило Орсениго в том, что на днях репатрирует дипломатический и консульский персонал, «исключая все же свободу выезда в другие страны» [8, № 365, р. 505]. Попытки узнать что-либо об участии югославских дипломатов предприняла также швейцарская миссия в Берлине, взявшая на себя обязанности представлять интересы Югославии. 31 мая Шляйниц получил из Берлина указание отправить всех интернированных в Югославию специальным поездом, сформированным в Линдау. 1 июня югославские дипломаты прибыли в Белград, откуда были отправлены в места их проживания под надзор полиции.

Вскоре одиннадцать человек были арестованы гестапо по подозрению в шпионаже против рейха и отправлены обратно в Германию. Риббентроп, информированный об этом, не сделал ничего для освобождения бывших дипломатов. После нескольких месяцев пребывания в застенках гестапо четверо получили разрешение вернуться на родину, остальные были брошены в концлагери [7, р. 59]. Там они подвергались пыткам и жестокому обращению. Вследствие этого пятеро умерли. Известно, что некоторые из них погибли в концентрационных лагерях Дахау и Бухенвальд [6, д. 179, л. 6]. К сентябрю 1945 г. отсутствовали сведения о судьбе остальных бывших сотрудников югославских консульств [6, д. 130, л. 20].

Иво Андрич до конца войны оставался в Белграде, фактически находясь под домашним арестом. Он отверг сотрудничество с оккупантами и предателями-коллаборационистами, отказался от назначенной ему профашистскими правителями пенсии, запретил издавать свои книги при коллаборационистском режиме [9, с. 468]. В течение трех с половиной лет затворничества Андрич создал три своих самых известных романа: «Мост на Дрине», «Травицкая хроника» и «Барышня». В 1961 г. ему была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Трагическая судьба югославской миссии в германском рейхе свидетельствует о пренебрежении нацистов к международному праву. Они заключили соглашения с другими государствами только для того, чтобы во имя достижения своих человеконенавистнических целей в выгодный момент нарушить их. Иво Андрич, возглавлявший в те дни югославское дипломатическое представительство в нацистской Германии, проявил себя истинным патриотом своей Родины. Он сделал все возможное для спасения своих соотечественников и пережил вместе со своим народом самые трагические дни югославской истории.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Терзић В.* О дипломатској активности Иве Андрића уочи и у току другог светског рата.— Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности и културе.— В сб.: Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду од 26. до 28. маја 1980. Београд, 1981, с. 531—539.
2. *Breccia A.* Jugoslavia 1939—1941. Diplomazia della neutralità. Roma, 1978.
3. *Hopther J.* Jugoslavia in Crisis 1934—1941. New York — London, 1962.
4. Die Weizsäcker-Papiere 1930—1950. Frankfurt am Main, 1974, S. 244.
5. *Бережков В. М.* Страницы дипломатической истории. М., 1982.
6. ЦГАОР СССР, ф. 7445, оп. 2.
7. *Juričić Z. B.* Andrić's Last Days in Diplomacy and his Role in the 1941 Evacuation of the Royal Yugoslav Consular and Diplomatic Personnel from Germany.— *Zeitschrift für Balkanologie*, 1985, Bd. XXI/1.
8. Actes et documents du Saint Siège relatif a second gerre mondiale, v. 4. Le Saint Siege et la gerre en Europe. Juin 1940 — juin 1941. Vatican, 1963.
9. *Романенко А.* О жизни и творчестве Иво Андрича. Послесловие к книге «Иво Андрич. Мост на Дрине. Повести и рассказы». М., 1985.



ФЛОРИЯ Б. Н.

РУССКО-ОСМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СМОЛЕНСКОЙ ВОЙНЫ

Тема «Россия и Тридцатилетняя война» (а точнее: о месте России в системе общеевропейских международных отношений, формировавшейся в ходе развития этого первого общеевропейского конфликта) зазвучала с полной силой в советской историографии с появлением на протяжении 40—70-х годов целого цикла ярко написанных и основанных на свежем архивном материале исследований Б. Ф. Поршнева¹. Если в предшествующей историографии события Тридцатилетней войны никак не сопоставлялись с таким важным событием в истории русской внешней политики, как так называемая Смоленская война Русского государства против Речи Посполитой в 1632—1634 гг., то главным положением работ Б. Ф. Поршнева стал тезис о тесной взаимосвязи между ними. Разумеется, исследователь отдавал себе отчет в том, что целью Смоленской войны было решение давно и традиционно стоявшей перед русским правительством задачи — воссоединения русских, украинских и белорусских земель, входивших тогда в состав Речи Посполитой. Однако он полагал (и обосновывал свое мнение), что в условиях Тридцатилетней войны, когда почти вся Европа разделилась на две враждующие между собой коалиции, добиться своих целей русское правительство могло, лишь присоединившись к одной из них. Тесное политическое сближение Речи Посполитой с Габсбургами предопределило его выбор в пользу антигабсбургского лагеря. Отсюда принятый фактическим руководителем русской внешней политики 20-х — начала 30-х годов XVII в. патриархом Филаретом курс на политическое сближение со шведским королем Густавом-Адольфом, который в 1629—1632 гг. был одним из главных руководителей антигабсбургской коалиции. Этот курс нашел свое выражение в политическом сближении обоих государств, в оказании русским правительством материальной помощи Густаву-Адольфу в его войне с Габсбургами, в совместных действиях против Речи Посполитой. А накануне Смоленской войны была достигнута договоренность о военном сотрудничестве и выработан проект договора о союзе между этими государствами, направленном против Речи Посполитой. Тем самым Смоленская война рассматривается автором как итог проведения определенной политической линии, результатом сознательной попытки русского правительства решить стоявшие перед ним проблемы путем присоединения к антигабсбургскому лагерю (в лице Швеции). Наблюдения и выводы Б. Ф. Поршнева основывались на большом архивном материале по истории русско-шведских отношений, извлеченном из архива Посольского приказа XVII в.

Флория Борис Николаевич — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Результаты этих исследований обобщены в его вышедшей посмертно монографии [1].

После его исследований взаимосвязь между Смоленской войной и событиями Тридцатилетней войны сомнений не вызывает. Ясно, что в Москве были в курсе общеевропейской политической ситуации и старались соотносить с нею свою внешнюю политику. Однако была ли эта внешняя политика так четко и последовательно ориентирована именно на сближение со Швецией как представительницей антигабсбургских сил в Европе? Сомнения вызываются тем, что в годы, предшествующие Смоленской войне, русское правительство вело переговоры о союзе против Речи Посполитой не только со Швецией, но и с Османской империей — державой, занимавшей особое место в политической структуре Европы и не принимавшей участия в борьбе габсбургской и антигабсбургской коалиций. Разумеется, о факте таких переговоров Б. Ф. Поршнев знал, понимал, что они должны были оказывать влияние и на общую позицию России, и на развитие ее взаимоотношений со Швецией, отмечал, что все это «требует детального анализа» [1, с. 196, 241, 263, 297—298], но в его итоговом исследовании эта сторона русской внешней политики специально не рассматривалась (возможно, ученый планировал осуществить это в дальнейшем, но сделать этого не успел). Значительный материал по истории русско-османских отношений конца 20-х — начала 30-х годов XVII в. введен в научный оборот в известной работе А. А. Новосельского [2]². Однако место русско-османских отношений и в русской внешней политике и в политической жизни региона в целом остается неясным. Данная статья представляет собой попытку выяснить эту сторону дела. Тем самым можно будет ответить на вопрос, действительно ли русская внешняя политика была так тесно связана с политикой антигабсбургской коалиции, как это представлялось Б. Ф. Поршневу.

Известно, что к 1625 г. русское государство не вызвало интереса у европейских государств и не вело с каким-либо из них дипломатических переговоров. Такое состояние оказалось, однако, непродолжительным. Уже в 1626 г., когда началась так называемая «прусская война» между Речью Посполитой и Швецией, в Москве появились послы Густава Адольфа Э. Бремен и Г. Унгерн, предлагая русскому правительству выступить против польско-литовских феодалов. Одновременно они просили, чтобы царь послал «отводить» от Речи Посполитой запорожских казаков. Эта миссия, однако, не увенчалась успехом. Поздравляя короля с его победами над войсками Сигизмунда III и заверяя в своей дружбе, русские политики одновременно уклонились от каких-либо враждебных действий по отношению к Речи Посполитой. Попытка Густава Адольфа в следующем 1627 г. с помощью русского правительства вступить в сношения с Запорожьем также была безрезультатной [4, кн. 19, л. 159об., и сл.; 1, с. 179—181, 192—193]. Положение изменилось, когда с аналогичным предложением о союзе в Москву прибыл в конце 1627 г. посол султана Ф. Кантакузин³. Предложение о союзе против Речи Посполитой с османской стороны на первый взгляд выглядит странно. Османская империя в эти годы вела длительную и тяжелую войну с Ираном, которая при жизни шаха Аббаса (скончавшегося в 1629 г.) не складывалась удачно для османов. В этих условиях, казалось, султан не должен был стремиться увеличивать число своих противников. Недостаточная изученность стамбульских архивов не позволяет делать категорические заключения о причинах поворота османской политики, но все же обоснованно можно считать, что такому повороту способствовали события, происшедшие в Крыму в середине 20-х годов, когда утвердившийся здесь царевич Шагин-Гирей, связанный с шахом Аббасом, воспротивился попыткам султана удалить его из Крыма, опираясь на поддержку запорожских казаков [5, с. 26—37; 2, с. 111—114]. В Стамбуле за действиями запорожцев, по-видимому, усматривали враждебные планы короля Сигизмунда III, которому здесь

² В обобщающей работе Н. А. Смирнова [3] материал за эти годы использован слабо.

³ Общую характеристику миссии Ф. Кантакузина в 1627 г. см. [3, т. II, с. 23 и сл.].

и ранее не доверяли, зная о его тесных связях с Габсбургами. В этих условиях среди сановников султана, и прежде всего у такого влиятельного лица, как капудан-паша (командующий флотом) Хасан, который лично отвечал за безопасность черноморского побережья и за сохранение османских позиций в бассейне Черного моря, появилась идея искать устранения возникших затруднений путем сближения с Россией⁴. Анализ предложений, поступавших от османских дипломатов в конце 20-х — начале 30-х годов XVII в., позволяет заключить, что, действуя таким образом, османское правительство рассчитывало парализовать враждебные планы польского правительства и нанести серьезный удар по запорожцам, добиться прекращения нападений донских казаков на территории османов, и, наконец, получить от Русского государства военную помощь против Ирана⁵.

На встрече с патриархом Филаретом 13 октября Ф. Кантакузин предложил заключить военный союз между Россией и Османской империей против Речи Посполитой, «а что за божиею помощью их государским счастьем ... что доступят земли ево, и то у них, государей, будет пополам» [6, 1627 г., № 1, л. 297]. Через два дня патриарх ответил принципиальным согласием на это предложение и просил посла оставить проект союзного соглашения [6, 1627 г., № 1, л. 323—325]. 18 октября представленный Ф. Кантакузином проект был скреплен его крестоцелованием [3, т. II, с. 24—25]. Проект предусматривал обязательства султана «на польского Жигимонта короля помогати ратми своими и стояти заодин», а также способствовать включению в состав России городов, захваченных польско-литовскими феодалами в годы «Смуты»⁶. 6 февраля 1628 г. датирован текст наказа С. Яковлеву и П. Евдокимову [6, 1627 г., № 2, л. 181], отправленным в Стамбул для завершения переговоров и, в частности, для официального закрепления султаном выработанного проекта⁷. Простое сопоставление приведенных выше фактов показывает, что не переговоры со Швецией, а именно приезд Ф. Кантакузина в Москву стал началом тех изменений в русской внешней политике, которые привели в дальнейшем к Смоленской войне. Разумеется, в Москве самым серьезным образом учитывали то, что главные силы Речи Посполитой были связаны войной в Пруссии, но этого, как видим, оказалось недостаточно, чтобы побудить русское правительство к активности.

Из-за больших расстояний и трудностей пути С. Яковлев и П. Евдокимов добрались до Стамбула лишь в августе 1628 г., а в обратный путь выехали лишь в июле следующего, 1629 г. [6, 1628, № 2, л. 311, 371]. Однако результаты переговоров определились уже осенью 1628 г. 13 ноября Хасан-паша сообщил послам, что султан не может скрепить соглашение клятвой на коране, так как это не соответствует османской практике межгосударственных отношений, но «недругу недругом быти и от недругов помогати хочет ... в том слове своем стоит крепок и неподвижно». Аналогичным, по сообщениям Ф. Кантакузина, оказалось и решение дивана, который созвал в начале декабря вернувшийся с иранского фронта великий везир Хозрев-паша [6, 1628, № 2, л. 331, 341; 1628, № 3, л. 136, 158, 161]. Такая позиция османской стороны вполне понятна. Выбитый из Крыма к этому времени Шагин-Гирей нашел убежище в Речи Посполитой и пытался с помощью запорожцев и при неофициальном содействии польских властей вернуть себе ханский трон. На протяжении мая 1628 — апреля 1629 г. запорожское войско трижды вторгалось в Крым [5, с. 74—100; 2, с. 120, 134—137]. В Стамбуле окончательно уверились, что за на-

⁴ Неслучайно вместе с грамотами султана Ф. Кантакузин доставил царю и патриарху именно грамоты Хасан-паши [6, кн. 5, л. 124 и сл.] Стоит отметить и признание Кантакузина, что его послали султан и Хасан-паша, «а большой паша везир тово не ведает» [6, 1627 г., № 1, л. 300].

⁵ Все эти пожелания нашли наиболее полное выражение в материалах русско-османских переговоров 1630 г.

⁶ Текст проекта см. [7, приложения, с. XL—XLII].

⁷ См. грамоту Михаила Федоровича султану Мураду IV [6, 1627 г., № 1, л. 383—384].

падениями запорожцев стоит польское правительство и открыто выражали это убеждение в письмах Сигизмунду и гетману С. Конецпольскому [8, № 269—270]. Следовательно, факторы, определявшие желательность сближения с Россией, оставались в силе.

Б. Ф. Поршнев в свое время справедливо указал на такой важный источник для изучения русской внешней политики конца 20-х годов как запись царской речи на заседании боярской думы 27 марта 1629 г. [1, с. 197]. Заседание было созвано для обсуждения нового предложения шведов о совместном выступлении против Речи Посполитой, и в связи с этим царь давал общую оценку сложившейся международной ситуации. Со ссылкой на сообщения послов из Стамбула он с удовлетворением констатировал, что «Мурат-салтан принял их ... с великою честью и о государевых делах договор учинили и государево дело делаетца во всем против государева указу» [4, 1629, № 2, с. 252—253]. Такая оценка состояния русско-османских отношений повлияла на решения боярской думы, резко изменившей теперь свое отношение к шведским предложениям. 28 марта шведскому послу Ю. Бенгарту не только сообщили о заключении союза между Османской империей и Россией против Речи Посполитой, но и заверили, что русское правительство не будет вести с ней никаких мирных переговоров и даже начнет войну, чтобы оказать помощь Швеции, не дожидаясь окончания срока русско-польского перемирия [4, 1629, № 2, л. 292 и сл.] Таким образом, успешное развитие русско-османских переговоров к весне 1629 г. привело уже к открытому (переговоры Ф. Кантакузина с Филаретом и заключение предварительного соглашения проходили в обстановке строгой тайны)⁸ изменению официального курса русской внешней политики. Однако за декларациями пока не следовало каких-либо практических шагов⁹. В Москве ожидали возвращения из Стамбула своих послов и прибытия османских представителей для достижения уже не общеполитической, а военно-стратегической договоренности.

Время для этого пришло в июне 1630 г., когда в Москву снова прибыл вместе с возвращавшимися С. Яковлевым и П. Евдокимовым Ф. Кантакузин. Переговоры патриарха Филарета с Кантакузином обстоятельно рассмотрены в известной работе А. А. Новосельского [2, с. 170 и сл.], что позволяет в данном случае ограничиться их общей оценкой, сосредоточив внимание на тех моментах, которые существенны для нашей темы.

Анализ записей бесед Филарета и Ф. Кантакузина показывает, что на первый план выдвинулся вопрос об организации совместных военных действий против Речи Посполитой. К тому времени в Стамбуле сложился план большого военного похода на запорожцев («днепровских воров») с участием сухопутных войск во главе с Хуссейном-пашой и флота во главе с Хасаном-пашой. К ним должны были присоединиться войска трансильванского князя, воевод Молдавии и Валахии и крымские татары. На переговорах Ф. Кантакузин поднял вопрос об участии в походе и русских войск, имея в виду начало большой войны с Речью Посполитой, в результате которой султан, выполняя свои обязательства, вернет России утраченные в годы «Смуты» земли. Переговоры, продолжавшиеся в течение всего июня 1630 г. (за это время состоялось 5 бесед Филарета с Ф. Кантакузином), привели к результатам как более узкого значения — решение конкретного вопроса, так и более широкого — определение ориентации русской внешней политики в целом.

Конкретная договоренность заключалась в том, что русское правительство дало принципиальное согласие на участие в задуманной османам кампании. Уже 12 июня Хасану-паше и другим османским военачаль-

⁸ Присяга Ф. Кантакузином приносилась «тайно», а текст соглашения патриарх приказал «прочеть государю», а затем «держатъ в Посольском приказе за печатью, чтоб того не ведал никто» [6, 1627, № 1, л. 323, 335].

⁹ Характерно, что, если в проекте «речи» бояр перед шведскими послами содержалось обещание послать войска против Сигизмунда III («и на нынешнем лете»), то затем этот текст был снабжен пометой «Тои статьи послам не говорить» и зачеркнут [4, 1629, № 2, л. 319].

никам были отправлены грамоты с просьбой сообщить о маршрутах движения османских войск. Как только эти сведения придут, «и мы воевод наших пошлем, не мешкая», — читаем в них [6, 1630, № 1, л. 165 и сл.]. К донским казакам также было направлено приказание идти войной на Речь Посполитую вместе с «турскими людьми» [6, 1630, № 1, л. 225]. Еще более важно, что, начиная с лета 1630 г., русские власти предприняли целый ряд конкретных мер, явно свидетельствовавших о решении вести большую войну с Речью Посполитой.

Не позднее июня 1630 г. была отправлена серия грамот по городам о наборе и присылке в Москву детей боярских, «а быти им в ратном ученье ... с московскими немцы» [9, № 207; ср. № 276; 10, с. 62—64]. 11 июля последовал указ «быти на ... государеве службе, итти под Смоленск» Д. М. Черкасскому, С. В. Прозоровскому, М. А. Вельямнову [11, стб. 155—156]. Зимой 1630—1631 гг. был начат «разбор» по городам дворян и детей боярских [11, стб. 187]. В грамотах, рассылавшихся в связи с этим, детям боярским, получившим жалованье на 1630/31 г., предписывалось «быти на государеву службу готовым против разбора к весне» [9, № 305]. К концу 1630 г. было решено отправить за границу русских представителей Ф. Племянникова и А. Лесли, шотландца на русской службе, для закупки оружия, вербовки наемников и найма инструкторов для обучения русских солдат¹⁰. На переговорах с голландскими послами в январе 1631 г. был также поставлен вопрос о предоставлении русскому правительству помощи для войны с Речью Посполитой (в частности, речь шла о содействии в наборе солдат). Просьба голландцев о закупке селитры в записи переговоров сопровождалась резолюцией: «А селитры продажные никому не будет, потому что у царского величества с недругом зачнется на лето война нынешняго 139 (т. е. 1631) года» [13, кн. 1, л. 234—235, 284]. Поворот ориентации закономерно сопровождался сменой руководства в Посольском приказе: в начале сентября 1630 г. голландские послы сообщили в Амстердам, что глава этого учреждения думный дьяк Е. Г. Телепнев уволен в отставку и сослан в деревню за слишком большое «уважение» к полякам [14, с. 190].

Впрочем, русское правительство не скрывало своих намерений, а напротив нашло нужным публично объявить о них. В грамотах, отправленных с Ф. Племянниковым и А. Лесли королям Швеции, Дании, Англии и голландским Генеральным штатам, прямо сообщалось, что султан Мурад «с нашим царским величеством хочет быть в братской дружбе и любви навеки, а на польского короля за ево многие неправды хочет стояти и на весну посылает на него многих ратных людей» и предлагает царю «стоять с ним на польского короля заодно». А затем указывалось от имени царя: «Ныне мы, великий государь, за те королевские многие неправды хотим на него стояти и бояр наших и воевод со многими людьми на весну хотим послати» [4, 1630, № 9, л. 138 и сл.; № 10, л. 51 и сл.; 15, № 126] (ср. [1, с. 251—252]). В грамотах, адресованных в христианские государства Европы, трудно было более определенно дать понять, что между Россией и Османской империей заключен военный союз и именно во исполнение обязательств по этому союзу царь намерен весной 1631 г. направить свои войска против Речи Посполитой.

Все сказанное выше о внешнеполитической ориентации русского правительства во второй половине 1630 — начале 1631 г. окажется для ее определения тем более существенным, что к июлю 1630 г. в Москве было определенно известно, что еще в сентябре 1629 г. Густав Адольф заключил с Речью Посполитой перемирие в Альтмарке, и Швеция тем самым выбыла из числа открытых противников этого государства¹¹. Не располагали в Москве и официальными заявлениями со шведской стороны, что положение в будущем может скоро измениться. А. Моньер, побуждая

¹⁰ О миссии Лесли см. [12, № 81, 83], о миссии Ф. Племянникова [4, 1630, № 9, с. 84 и сл.]. См. также [10, с. 65 и сл.].

¹¹ О заключении перемирия шведский посол А. Моньер официально известил царя в феврале 1630 г. [4, 1630, № 2, л. 131—133].

русское правительство уже после заключения перемирия в Альтмарке начать войну с Речью Посполитой, ссылаясь лишь на то, что, если царь «войны с полским не взочнет, и государю нашему против цесаря стоять будет тяжело» [4, 1630, № 2, л. 203—204].

Каково же было место Швеции в русских внешнеполитических планах этого времени, чего ожидало русское правительство от этого государства?

После специальных исследований Б. Ф. Поршнева можно определенно утверждать, что война, которую вел Густав Адольф с австрийскими Габсбургами на территории Германии, расценивалась в Москве как явление весьма благоприятное для русской внешней политики, поскольку лишала Речь Посполитую поддержки ее главных возможных союзников. Более того, русское правительство проявляло явную заинтересованность в успехах шведов и, начиная с 1629 г., оказывало Густаву Адольфу все возрастающую материальную помощь в разных формах [1, с. 212—228]. В Москве также питали определенную надежду, что помощь, которую Сигизмунд III оказывает Габсбургам в нарушение условий польско-шведского перемирия, может привести к возобновлению войны между Швецией и Речью Посполитой¹². Наконец, здесь серьезно обдумывали способы, как дополнительно заинтересовать Густава Адольфа вмешательством в польские дела. Так, находившемуся в Москве летом 1630 г. послу трансильванского князя Бетлена Габора Ж. Русселю, направлявшемуся далее в Швецию, было дано поручение предложить Густаву Адольфу выдвинуть свою кандидатуру на польский трон после смерти Сигизмунда III¹³.

Все это бесспорно свидетельствует о серьезной заинтересованности русского правительства в дружественном сближении со Швецией против Речи Посполитой и даже в выступлении Швеции против этого государства, но участие Швеции вовсе не являлось для русского правительства *conditio sine qua non*, когда оно принимало решение о вступлении в войну с Речью Посполитой. Доказательством могут служить материалы уже упоминавшейся выше миссии во главе с Ф. Племянниковым, отправленной в Швецию в самом начале 1631 г., т. е. тогда, когда решение о войне было не только принято, но и активно проводилось в жизнь. Посланцы, которые должны были объявить о намерении русского правительства начать войну с Речью Посполитой, не были уполномочены ни предложить Густаву Адольфу принять участие в этой войне, ни даже обсуждать с ним или его советниками этот вопрос. Единственное, чего хотели в этот момент в Москве от шведского короля, это содействия в вербовке наемников и закупке оружия¹⁴.

То, что для русского правительства в 1630—1631 гг. на первом плане стоял военно-политический союз с Османской империей, а острой заинтересованности в военном выступлении шведов не было, показывает история русско-шведских переговоров в 1631 г., об организации для русского правительства армии в Германии.

Как показано в работе шведского историка Д. Норрманна, такой проект был предложен Густавом Адольфом после встречи с Ж. Русселем в ноябре 1630 г. [16, s. 39]. Суть предложения, переданного в Москву А. Моньером, состояла в том, что Густав Адольф не может нарушить перемирия с Речью Посполитой, но мог бы помочь царю, организовав, например, армию для нападения на это государство с территории Германии.

¹² Именно в таком духе высказывался Филарет во время бесед с Ф. Кантакузином летом 1630 г. [4, 1630, № 1, л. 92—93; 2, с. 172].

¹³ Это совершенно определенно следует из письма в Москву, в котором Ж. Руссель после встречи с Густавом Адольфом отчитывался в исполнении своего поручения: «Говорил один на один с королевским величеством о том о добром деле от вашего царского величества и договорился с ним тайно против вашего произволения... что надобет наводить и соединачить изволение панов рады на доброхотенье к превелеможнейшему Густаву Адольфу королю» [4, 1630, № 3, л. 2; 1, с. 247]. Есть основания полагать, что сама идея исходила в конечном итоге от шведских политиков [16, s. 30—32]. «подсказавших» ее через Русселя русскому двору, но важно, что в Москве ее одобрили, очевидно, как способ вовлечения Швеции в борьбу с Речью Посполитой.

¹⁴ Наказ Ф. Племянникову см. [4, 1630, № 9, л. 84 и сл.].

Эта армия содержалась бы на средства из царской казны и формально считалась бы русской. Густав Адольф обещал установить места для сбора войск и выделить офицеров для командования ими. В обмен за эту помощь русское правительство должно было взять обязательство не заключать мирного договора с Речью Посполитой без участия Швеции [16, s. 39—40] (ср. [1, с. 253—254]).

По мнению Б. Ф. Поршнева, выдвигая такое предложение, предполагавшее одновременное нападение на Речь Посполитую с востока и с запада, Густав Адольф стремился подтолкнуть русское правительство к объявлению войны Речи Посполитой, и этот маневр увенчался успехом. Русская сторона, пожеланиям которой этот шаг отвечал, сразу же одобрила шведский проект, внося в него лишь «незначительные» поправки [1, с. 253, 255, 257].

Однако неясно прежде всего, почему именно на рубеже 1630—1631 гг. Густав Адольф проявил эту особую заинтересованность. Ведь именно к этому времени он, несомненно, узнал об итогах русско-османских переговоров 1630 г., в которых принимал участие и Ж. Руссель как посол трансильванского князя Бетлена Габора. В этой ситуации не требовалось каких-то особых мер, чтобы склонить русское правительство к войне, которую оно уже и так решило вести.

Поспешное¹⁵ выдвижение шведского проекта сразу после встречи Густава Адольфа с Русселем следует связывать с иными обстоятельствами. Перед шведским королем вырисовывалась перспектива совместного русско-османского выступления против Речи Посполитой без участия Швеции и в условиях, когда шведская армия, занятая военными операциями в Германии, не могла бы вмешаться в развитие событий. Устранить эту опасность и должен был задуманный Густавом Адольфом проект.

Один из первых исследователей, писавших об этом проекте, Е. Д. Сташевский правильно раскрыл суть шведских предложений [10, с. 85 и сл.], отметив, что армия, действующая в отрыве от русских военных сил и их операционного плана и возглавляемая шведскими офицерами, представляла бы собой инструмент шведской политики, который бы обеспечил защиту шведских интересов в сложившейся ситуации. А содержание этой армии за отсутствием у Густава Адольфа денег, уходивших на войну с Габсбургами, должна была взять, как уже говорилось выше, на себя русская сторона.

Материалы переговоров, которые весной 1631 г. вел в Москве А. Моньер, не сохранились ни в русских, ни в шведских архивах, но некоторые документы более позднего времени позволяют судить о реакции в Москве на шведский проект¹⁶. Как установил уже Б. Ф. Поршнев, одобрив проект в принципе, здесь внесли в него ряд поправок. Русские политики предлагали, чтобы такая армия была смешанной по своему составу (из русской конницы и шведской пехоты) и выступила против Речи Посполитой с граничившей с Русским государством территории Ливонии. Вопреки мнению этого исследователя их вовсе нельзя считать «незначительными». Напротив, они изменяли весь характер шведского проекта в принципе. Ведь армия, состоявшая в значительной мере из русских войск, действовавшая в непосредственном контакте с русскими главными силами и по одному оперативному плану, представляла бы особую группировку в составе русских сил.

Такая реакция русского правительства ясно показывает, что весной 1631 г., имея в руках договор с османами, оно не считало возможным сотрудничество со шведами на столь невыгодных для русской стороны условиях.

Предложенные Москвой условия, как и следовало ожидать, оказались для Густава Адольфа неприемлемыми. Во второй половине 1631 г. воп-

¹⁵ Густав Адольф так торопился довести свое предложение до русских властей, что А. Моньер первоначально не получил данных о возможных размерах проектируемой армии и вынужден был их запрашивать, уже находясь в дороге [16, s. 67—68].

¹⁶ Это прежде всего грамоты А. Моньера царю и патриарху от сентября 1631 г. [4, 1631, № 8, л. 219 и сл.], см. также [4, 1631, № 7, л. 286—287].

рос о проекте стал предметом оживленных русско-шведских дипломатических контактов. По заключению Б. Ф. Поршнева, шведская сторона вела речь об «уточнении проекта согласно запросам московского правительства» [1, с. 275]. Однако и из содержания архивных дел, и из тех данных, которые приведены в книге Б. Ф. Поршнева [10, с. 86—87; 4, 1631, № 8, л. 64, 219—231, № 9, л. 15—16, № 10, л. 4, 27—29, 48; 1, с. 256—258, 275—277, 302—303, 305—306], видно, что и шведский резидент в Москве Н. Моnier, и перешедший на шведскую службу Ж. Руссель, дважды летом — осенью 1631 г. посылавший в Москву своих агентов, упорно добивались принятия шведского проекта в его первоначальной форме. Однако летом — осенью 1631 г. эти демарши не привели к успеху — в Москве явно уклонялись от их обсуждения¹⁷. Изменения неслучайно наступили лишь тогда, когда наметились важные перемены в русско-османских отношениях.

Ф. Кантакузин не обманывал русских полтиков, сообщая о сборе летом 1630 г. морских и сухопутных сил османов для похода на территорию Речи Посполитой. В июне—июле 1630 г. в районе Килии и Аккермана собрались войска и флот во главе с бейлербеem Муртозой, вызванным из Венгрии, и капудан-пашой Хасаном, готовые для выступления. Однако и в этот момент самого сильного обострения османско-польских отношений этому мероприятию старались придать вид (как следует из писем османских военачальников польским властям) военной экспедиции против Запорожья без формального объявления войны¹⁸ [8, № 279, 280, 281]. Пойти на большую войну с Речью Посполитой Османская империя не могла, будучи связанной войной с Ираном. В пределах ее возможностей была лишь крупная военная демонстрация, которая заставила бы польское правительство отказаться от враждебных действий по отношению к Османской империи. Необходимый размах и серьезность такой демонстрации придало бы совместное выступление с Россией, отсюда такая активность османской дипломатии. И вот в тот момент, когда задуманный замысел был близок к завершению, в Речи Посполитой произошли события, которые для многих османских политиков сделали такую демонстрацию ненужной. Летом 1630 г. на Украине разразилось казачье восстание во главе с Тарасом Федоровичем, на подавление которого была брошена армия во главе с великим гетманом коронным С. Конецпольским. Об этом османские военачальники узнали от возвращающегося из Варшавы османского гонца Хусейна, а затем от прибывшего в июле в их лагерь под Килией А. Пясечинского, выдававшего действия гетмана за карательные санкции против запорожцев, в нарушение мирного договора нападавших на Османскую империю [8, № 279, 281; 17, с. 50—52]. Разумеется, османские сановники не были столь наивны, чтобы поверить этим объяснениям. Для них существенно было другое: если польское правительство нашло нужным начать войну против казачества, у него явно на данном этапе нет серьезных планов против Османской империи. Все это довольно быстро повело к повороту в настроениях османских политиков. Характерно, что уже в июне 1630 г., когда Ф. Кантакузин вел в Москве переговоры с Филаретом, командующий сухопутными войсками османов Муртоза предложил гетману свою военную помощь против казаков [8, № 279]. Поход был отменен [17, с. 58], и в результате переговоров в Стамбуле с А. Пясечинским в августе — сентябре 1630 г. стороны подтвердили, что прежние мирные соглашения между Османской империей и Речью Посполитой остаются в силе [17, с. 74]. Серьезной опасности с польской стороны в Стамбуле теперь не ожидали, а прекращения казачьих набегов пытались добиться дипломатическими средствами: польские власти побуждали вывести казаков из Запорожья, обещая за это выселение татар из Буджака [17, с. 76 и сл.; 8, № 286, 289].

¹⁷ Характерно, что в царских ответах на письма Ж. Русселя вопрос о наборе армии в Германии был обойден молчанием.

¹⁸ О поведении османских сановников в начале переговоров с послом Сигизмунда III А. Пясечинским см. также [17, с. 50—51].

Когда сведения об изменениях в Стамбуле стали известны в Москве и как они повлияли на русскую внешнюю политику? К концу лета 1631 г. здесь бесспорно располагали полученными от Ф. Племянникова сведениями о заключении мира между Османской империей и Речью Посполитой и о прибытии в Варшаву османского посольства [4, 1631, № 4, л. 27, 35, 44, 47, 109]. Несомненно, что эти сообщения явились одной из причин того, что намеченная на весну 1631 г. война с Речью Посполитой не началась в намеченный срок¹⁹. В целом, однако, внешнеполитический курс русско-го правительства не изменился. Продолжалась подготовка к войне²⁰, прежним оставалось до конца 1631 г. и его отношение к шведским предложениям об условиях сотрудничества. Несомненно, здесь ждали сообщений о результатах переговоров русских послов в Стамбуле.

Эти послы, А. Совин и М. Алфимов, прибыли в Стамбул вместе с Ф. Кантакузином в ноябре 1630 г. [6, 1630, № 4, л. 55]. Хотя к этому времени им было уже известно о подтверждении польско-османского мира, у них сложилось впечатление, что возможности для русско-османского сотрудничества продолжают сохраняться. Так, выяснилось, что не все в Стамбуле — сторонники новой линии. Капудан-паша Хасан, попавший в опалу, но сохранивший большие связи при дворе, обещал послам «литовской мир испортити» [6, 1630, № 4, л. 63]. Еще более важно было, что каймакам Реджеб-паша (управлявший делами в отсутствие находившегося на иранском фронте великого везира) заверял русских дипломатов, что, несмотря на подтверждение мира с Речью Посполитой, достигнутая в Москве договоренность остается в силе и весной 1631 г. султан пошлет на Речь Посполитую свои войска²¹. Об этих заявлениях послы поспешили уведомить царя, отправив 25 января донесение в Москву [6, 1630, № 4, л. 141]. Располагая таким сообщением, здесь имели основание надеяться на позитивный исход переговоров.

Не ясно, что стояло за заявлениями каймакама — действительное ли желание изменить политику или стремление с помощью дипломатической игры поддерживать напряженность русско-польских отношений. Для нашей темы существенно другое — эти заявления были отброшены в сторону, когда начались серьезные неудачи на иранском фронте и в Стамбуле появились беглецы из разбитой под Багдадом армии. 3 марта 1631 г. Реджеб-паша заявил, что, поскольку у империи «со всех сторон недруги... умножились», о ее выступлении против Речи Посполитой не может быть и речи [6, 1630, № 4, л. 150]. В мае посланец Ахмет-ага повез в Москву грамоту султана Мурада, в которой констатировалось, что ход войны на иранском фронте и осложнения в отношениях между Австрией и вассалом османов — Сепмградьем не дают возможности султану оказывать помощь Русскому государству. Пока положение Османской империи не улучшится, султан рекомендовал «вам бы до тех мест с соседом своим и с недругом быти не в задоре и до тех мест потерпети» [6, 1631, № 2, л. 249—250; 2, с. 175]. Лишь в конце этого месяца, остановившись на обратном пути в Балаклаве, А. Совин и М. Алфимов смогли отправить русским послам в Крым для пересылки в Москву отписку с изложением результатов русско-османских переговоров [6, 1630, № 4, л. 218]. Учитывая трудности сообщения между Москвой и Бахчисараем, следует полагать, что эта важная информация о переменах в Стамбуле оказалась в распоряжении царя и патриарха никак не раньше осени 1631 г. Таким образом, именно в то время, когда подготовка к войне с Речью Посполитой шла полным ходом и на нее ушли уже значительные средства, а о своих намерениях рус-

¹⁹ В одном из польских «листочков» того времени указывалось даже, что царь Михаил по настоянию отца выехал к собравшимся под Можайском войскам, но вернулся в Москву, узнав о заключении польско-османского мира [4, 1631, № 10, л. 41—42]. В русских источниках сведений о такой поездке не имеется.

²⁰ В июне 1631 г. были назначены новые командующие армией Д. М. Черкасский и Б. М. Лыков, боярская дума провела смотр нанятых «немецких» полков [18, стб. 371], которые не были затем распущены, а наоборот пополнялись.

²¹ См. записи бесед с каймакамом от 25 декабря 1630 и 12 января 1631 г. [6, 1630, № 4, л. 99—100, 120].

ское правительство успело объявить европейским дворам, оно было окончательно оставлено своим главным предполагаемым союзником.

Пришлось с учетом этого нового фактора пересматривать отношение ко всей международной ситуации в целом, и соответствующие выводы были сделаны: в январе 1632 г. после шестинедельных заседаний царя и патриарха с боярской думой и освященным собором было дано согласие на шведский проект организации особой армии в Германии на русские деньги [16, s. 85]. Именно с этого времени дипломатическая подготовка Смоленской войны стала всецело определяться ориентацией на самое тесное военно-политическое сотрудничество со Швецией, ради которого в Москве были готовы и на определенные уступки за счет собственных интересов. Такому повороту русской внешней политики способствовали, впрочем, не только возникшие осложнения русско-османских отношений, но и заметный рост международного престижа Шведского королевства после блестящих побед Густава Адольфа над войсками Габсбургов в Германии. Этот последний этап дипломатической предыстории Смоленской войны достаточно точно и всесторонне охарактеризован в упоминавшихся выше работах Б. Ф. Поршнева.

Сделанные выше наблюдения позволяют, на наш взгляд, не только составить более точное представление о взаимоотношениях России с Османской империей и Швецией в годы, предшествующие Смоленской войне, но и сделать общие выводы о степени развития общеевропейской системы международных отношений к концу последней трети XVII в. Не подлежит сомнению, что развитие связей между европейскими государствами достигло к этому времени такого уровня, что ни одно из них не могло принимать конкретных политических решений без учета ситуации, которая возникла в Европе с началом Тридцатилетней войны, и без попыток использовать эту ситуацию в своих интересах. Материальная поддержка со стороны русского правительства шведского короля Густава Адольфа в его войне с Габсбургами может служить одним из доказательств правильности этого тезиса. Вместе с тем объективная взаимосвязь интересов разных государств и ее субъективное осознание еще не поднялись до такого уровня, когда присоединение к одной из сражающихся за господство в Европе коалиций и прямое участие в общеевропейском конфликте стало бы восприниматься как единственный путь решения традиционно стоявших перед государствами региональных проблем. Напротив, учет общеевропейской ситуации не исключал попыток решения своих региональных проблем традиционными способами, путем соглашений с одним из соседей, соглашений, не имевших никакого отношения к решению общеевропейских проблем. Именно такой характер имела договоренность между Россией и Османской империей, сыгравшая, как показано выше, значительную роль в формировании русской внешней политики перед Смоленской войной. Это соглашение и комплекс связанных с ним событий говорят о том, что начавшийся в XVII в. процесс активного вовлечения Восточной Европы в формирующуюся общеевропейскую систему международных отношений к концу первой трети XVII в. находился еще в начальной стадии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Поршнев Б. Ф.* Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976.
2. *Новосельский А. А.* Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948.
3. *Смирнов Н. А.* Россия и Турция в XVI—XVII вв., т. I—II. М., 1946.
4. Центральный государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. 96. Сношения России со Швецией.
5. *Varanowski V.* Polska a Tatarszczyzna w latach 1624—1629. Łódź, 1948.
6. ЦГАДА, ф. 89. Сношения России с Турцией.
7. *Сташевский Е. Д.* Очерки по истории царствования Михаила Федоровича. Ч. 1. Киев, 1913.
8. Katalog dokumentów tureckich, cz. 1 (1455—1572). Opr. Z. Abrachamowicz. Warszawa, 1959.
9. Акты Московского государства. Т. I. СПб., 1890.
10. *Сташевский Е. Д.* Смоленская война 1632—1634 гг. Организация и состояние русской армии. Киев, 1919.
11. Дворцовые разряды. Т. 2. СПб., 1851.
12. Собрание государственных грамот и договоров. Т. III. М., 1822.
13. ЦГАДА, ф. 50. Сношения России с Голландией.
14. Сборник Русского исторического общества. Т. 116. СПб., 1902.
15. Русская историческая библиотека. Т. XVI. СПб., 1892.
16. *Norrman D.* Gustav Adolfs politik mot Ryssland och Polen under tyska kriget. 1630—1632. Uppsala, 1943.
17. Trzy relacje z polskich podróży na Wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku / Wyd. A. Walaszek. Kraków, 1980.
18. Книги разрядные. Т. II. СПб., 1855.



МЕЛЬНИКОВ Г. П.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПАТРИЦИАТА В ПРАГЕ (вторая половина XV — первая половина XVI в.)¹

Гуситское революционное движение настолько глубоко потрясло устоявшуюся социальную структуру чешских феодальных городов, прежде всего Праги, что привело к значительной ее трансформации. Из многочисленных последствий гуситского движения рассмотрим лишь одно — изменения в пражском патрициате.

Применительно к средневековой Чехии под термином «патрициат» мы понимаем верхнюю страту городской социальной структуры. На наш взгляд, можно выделить две группы патрициата. К первой относились лица, владевшие значительными земельными владениями, в XVI в., как правило, стремившиеся к частичной нобилитации (приобретение герба). Принадлежность к этой группе была наследственно-родовой. Вторую группу составляло крупное купечество, основой капитала которого был товарооборот и недвижимое имущество в городе. Приобретая земельные владения, купечество сближалось с первой группой патрициата, образуя единый социальный слой. Обе группы пользовались значительным влиянием в общественной жизни города. Обладание властью в городе мы не считаем обязательным признаком, представительство патрициата в городских магистратурах зависело от изменений конкретной ситуации в городе.

В начале XV в., накануне гуситского движения, как показал чехословацкий историк Я. Мезник, пражский патрициат по своему этническому составу был смешанным: наряду с немцами все большее влияние приобретали чехи [1, s. 19, 22, 24]. Социальные катаклизмы в ходе гуситского движения привели к почти полному исчезновению патрициата как элемента социальной структуры города. Это было вызвано главным образом конфискацией земельных владений патрициев — сторонников католической церкви. Поэтому мы вправе констатировать дисконтинуитет развития пражского патрициата. Определенные позиции сохранили патриции, которые были по этнической принадлежности чехами и сразу перешли на сторону восставших гуситов. Я. Мезник считает число таких патрициев весьма значительным [2, s. 39, 41]. Однако было недостаточно сориентироваться в политической ситуации в момент начала движения, не менее важным было сохранить политическое чутье, а вместе с ним и имущество, на всем протяжении гуситского движения, безболезненно пройти через все внутригородские перевороты и изменения политической линии чешских городов. Ко времени стабилизации в стране после окончания гуситского революционного движения (1440-е годы) количество лиц в Праге, которых можно на основе оценки их имущества отнести к патрициату, было невелико — около 40 человек [2, s. 39].

Мельников Георгий Павлович — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Статья написана на основе доклада, сделанного на конференции «Проблемы социальной истории Западной Европы в средние века (классовая и словесная структура)», состоявшейся в Московском государственном университете.

С середины XV в. начинается процесс формирования нового патрициата в Праге, занявший вторую половину XV — первую половину XVI в. К моменту сословного восстания 1547 г. можно говорить о вновь сложившемся патрициате как устойчивой страте чешского общества.

Вновь рождавшийся пражский патрициат обладал рядом особенностей. По этническому составу он стал почти полностью чешским. Источниками его формирования были прежде всего зажиточные слои ремесленников, занявшие в городском общинном самоуправлении послегуситской Праги руководящее место. Документы дают возможность проследить процесс превращения ремесленника в патриция. Подобная метаморфоза легче всего осуществлялась в том случае, когда ремесленник восходил вверх по лестнице городских магистратур. Наиболее ярким примером может служить ножовщик Ян Срна, впервые ставший членом городского совета (коншелом) в 1530 г. Через четыре года он уже становится примасом пражского Нового Места, а через 5 лет получает герб и именуется Ян Срна из Карловой Горы². Родовое прозвище другого коншела, имевшего герб, — Мыдларж, то есть мыловар [4, с. 622]: это говорит о том, что или он сам, или его отец занимались мыловарением.

Патрициат также формировался из торговых людей, постепенно становившихся крупными купцами, вкладывавшими капитал в приобретение земельных владений. Необходимо подчеркнуть, что значительная социальная мобильность послегуситского пражского бюргерства обусловила отсутствие непреодолимой грани между патрициатом и ремесленниками. В количественном отношении пражский патрициат в первой половине XVI в. составлял, по нашим подсчетам, 12% от общего числа бюргеров³.

В послегуситской Праге патрициат был крупным собственником земельных владений. Из 89 завещаний, выявленных при статистической обработке завещаний патрициев, земельные владения упомянуты в 86 документах, из них деревнями и усадьбами владели 40 человек, виноградниками — 46 человек. Нередко один патриций владел как деревнями, так и виноградниками. Материалы завещаний патрициата позволили установить интересную особенность в структуре его имущества: крупные землевладельцы не имели значительных домовладений в городе. Это позволяет выделить из среды пражского патрициата особую группу, основой хозяйства и благосостояния которой была земельная собственность, а главный источник дохода состоял в феодальной ренте. У купечества основу недвижимости составляли домовладения в городе, однако, земельные владения и здесь играли не последнюю роль. Как правило, это были виноградники. О росте землевладений у этой группы патрициата свидетельствуют те завещания, в которых их составители наказывают своим наследникам приобрести несколько деревень на скопленные ими для этой цели деньги. Все это позволяет выдвинуть предположение, что купцы стремились вкладывать свой капитал именно в приобретение земли. Таким образом, они все более сближались с первой группой патрициата.

Конец XV — начало XVI в. — время острой борьбы между городами и дворянством в Чехии. Города стремились сохранить за собой право участвовать в сейме и тем самым влиять на политическое развитие страны в период крайнего ослабления королевской власти. Борьба с дворянством и рост экономической силы патрициата вели к его нобилизации, выражавшейся прежде всего в стремлении получить герб. Так, в 1537 г. из 18 членов магистрата 12 человек уже обладали гербами (определено по [3]). Однако получение герба не означало перехода из бюргерского сословия в рыцарское, так как для этого требовалось не только согласие рыцарской сии, но и отказ горожанина от экономической деятельности, считавшейся несовместимой с рыцарским достоинством. Получение (вернее, покупка) герба горожанином лишь поднимала его прес-

² Определено по спискам пражских должностных лиц (см. [3]).

³ Подсчеты сделаны на основе статистической обработки материалов завещаний жителей Праги, хранящихся в Архиве города Праги [5].

тиж в городе и в обществе, но не давала права на освобождение от городских налогов. Однако такое освобождение было невыгодно самому горожанину, ибо в этом случае его не допустили бы к занятию муниципальных должностей.

В послегуситской Праге вновь формирующийся патрициат далеко не сразу занял руководящие позиции в коммунальном самоуправлении. Ряд внутригородских волнений и переворотов замедлял сам процесс формирования нового патрициата, приводил к нестабильности его состава. Так, пришедший к власти в Праге к 1480-м гг. патрициат был свергнут в результате пражского восстания 1483 г. Широкие массы ремесленников и бедноты были недовольны притеснениями новой городской знати. Не последнюю роль в росте недовольства политикой магистрата сыграло и намерение «отцов города» присоединиться к партии католического дворянства, которая вела борьбу с партией утравкистов, куда входила часть магнатов-гуситов, большая часть мелкого и среднего дворянства и подавляющее большинство чешских городов. Ремесленники, чувствуя себя достаточно сильными и учитывая расстановку сил в стране, легко совершили городской переворот. В ходе восстания были выработаны требования, носившие ярко выраженный антипатрицианский, демократический характер. Через год король был вынужден санкционировать все изменения, происшедшие в Праге, включая казнь бывших коншелов, утвердить новый состав магистрата и дать письменное обещание впредь назначать коншелов только из числа тех, кто рекомендован на общем собрании городской коммуны⁴. Фактическая капитуляция короля перед требованиями восставшего города — случай для средневековья весьма редкий, а для Чехии — единственный, — свидетельствовала о большой политической силе пражских ремесленников. В результате победы восстания 1483 г. изменился состав магистрата: до восстания из 18 его членов лишь 2 были ремесленниками, после восстания — уже восемь человек (определено по [3]). Однако процесс формирования нового патрициата был необратим: пришедшая к власти часть ремесленников постепенно сама приобретала его черты. После восстания 1483 г. наметилось сближение патрициата и верхушки ремесленных цехов. Этот союз укрепился в результате пражского переворота 1524 г.⁵ Треть магистрата в этот период, как и раньше, состояла из ремесленников (определено по [3]). Современник событий Бартошписарь назвал «четырьмя столпами правления» этого периода наряду с приамом-патрицем представителей цехов мясников, оловянщиков и кузнецов [9, s. 289].

Необходимо отметить, что накануне переворота 1524 г. политические позиции пражского патрициата были ослаблены его расколом на староутравкистов, т. е. приверженцев ортодоксального гусизма, склонявшихся к компромиссу с папской курией и католическим дворянством, и новоутравкистов, требовавших изменений в духе лютеранства. Переворот привел к поражению лютерански настроенного крыла. Многие семьи были вынуждены покинуть Прагу. Раскол патрициата и борьба между его группировками, вызванная распространением идей немецкой Реформации в Чехии, препятствовали консолидации этого социального слоя на протяжении 1520—1530-х годов. Поэтому до середины XVI в. патрициат в Праге не обладал политической силой достаточной, чтобы сосредоточить в своих руках всю полноту власти в городе, которой он был вынужден делиться с ремесленниками.

Этому способствовали и социально-экономические отношения между ремесленными цехами и купечеством. Ремесленное производство в Чехии в рассматриваемый период характеризуется определенным отставанием от Западной Европы, что выразилось в отсутствии экспортных отраслей в чешском городском ремесленном производстве. Поэтому торговый капитал Чешских земель был слабо связан с местным ремеслом. Социальным

⁴ О восстании 1483 г. см. свидетельство источника [6, s. 251—262] и исторический анализ событий [7, s. 175—184].

⁵ Его характеристику см. [8].

последствием этой незаинтересованности было отсутствие у купечества стремления подчинить своим интересам ремесленников. Это в свою очередь не могло способствовать укреплению политических позиций патрициата внутри города, особенно в условиях усиления цеховой системы в первой половине XVI в.

В процессе формирования нового пражского патрициата принимали участие и некоторые выходцы из немецких земель. Это объясняется тесными торговыми связями Чехии с Нюрнбергом, Аугсбургом, Лейпцигом и другими немецкими городами.

Купцы, приезжавшие в Прагу из разных стран, назывались «лежаками», ибо были обречены сидеть на одном месте. Они имели право продавать свои товары только оптом купцу-пражанину, им запрещалось вступать в деловые контакты и заключать сделки между собой, а также самим ездить по стране. В таких условиях широкое распространение получила система агентов, присылаемых в Прагу немецкими торговыми домами. Такие агенты, как свидетельствуют их завещания, со временем оседали в Праге и превращались в самостоятельных купцов.

Одним из крупнейших пражских купцов первой половины XVI в. был Арношт Гибнер, одновременно служивший агентом трех нюрнбергских и одного вюрцлавского торговых домов, в том числе фирмы Вельзеров. Кроме значительных денежных средств, он владел большим количеством серебряных рудников в Яхимове. Значительный капитал позволил уже его отцу купить деревню, а самому Арношту приобрести герб [5, f. Q. 20; 10, s. 272—337].

Одним из наиболее богатых пражских патрициев стал Михаэль Карг, который переселился в Прагу из Регенсбурга, имея лишь небольшой наличный капитал. В Праге Карг долгие годы выполнял роль агента купцов из Мюнхена и Нюрнберга, вывозивших из Чехии медь. Посредническая торговля медью позволила Каргу настолько разбогатеть, что он смог приобрести не только право пражского бюргерства, но и огромные земельные владения, долю в горнорудных разработках и дворянский герб. Не порывая торговых связей с Нюрнбергом, Карг весьма тесно слился с чешской средой, чехизировал свое имя и стал именоваться Михал Карык из Ржезна. Примечательно, что его сыновья не знали немецкого языка, поэтому в своей последней воле отец наказывал им идти в Германию учиться немецкому языку [4, s. 761—767; 10, s. 337].

М. Карык, как и другие пражские патриции-немцы, не принимал участия в общественно-политической жизни города, однако был благодаря своему богатству весьма уважаемым лицом. Об этом свидетельствует тот факт, что его имя фигурирует в перечне представителей городских коммун Праги, 12 июля 1547 г. согласившихся принять требования короля Фердинанда I, одержавшего победу над восставшей Прагой. Эта капитуляция представляла акт особой важности, согласно которому Прага лишалась своих торгово-ремесленных привилегий и земельных владений с рентами, а также соглашалась на введение новых налогов и на ряд значительных политических уступок. Примечательно, что в указанном перечне лиц наряду с представителями городского самоуправления указаны всего лишь два представителя «от общины» Старого Места Пражского, первым из которых назван М. Карык [11, s. 88].

Подобных пражских патрициев — выходцев из немецких земель было крайне мало и роль их была весьма скромной. Она состояла в привлечении в страну, испытывавшую хроническую нехватку денежных средств, капиталов из Германии. Однако этот процесс был sporadическим и не оказал существенного воздействия на чешскую экономику. Из-за своей малочисленности агенты немецких торговых домов не составили в Праге какого-либо объединения. Напротив, отпочковавшись от своих патронов, они сливались с пражским патрициатом, приобретали герб и в национальном и языковом отношении чехизировались.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Mezník J.* Národnostní složení předhusitské Prahy.— In: Sborník historický. Praha, 1970.
2. *Mezník J.* Venkovské statky pražských měšťanů v době předhusitské a husitské. Praha, 1965.
3. *Tomek V. V.* Dějepis města Prahy. Praha, 1893—1897, d. IX—XI.
4. Základy starého místopisu Pražského (1437—1620). Sestavil J. Teige. Praha, 1910, d. I.
5. Archiv města Prahy, rkp., č. 2142.
6. Ze starých letopisů českých. Praha, 1980.
7. *Goll J.* Některé prameny o bouři pražské r. 1483. a 1484.— In: Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk, r. 1878. Praha, 1879.
8. *Мельников Г. П.* Из истории общественно-политической борьбы в Чехии в 20-е годы XVI в.— Советское славяноведение, 1980, № 5.
9. *Bartoš.* Kronika pražská. Praha, 1863.
10. *Janáček J.* Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha, 1955.
11. Sixt z Ottersdorfu. O pokoření stavu městského léta 1547 / Vyd. J. Janáček. Praha, 1950.



МАКАРОВА И. Ф.

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БОЛГАРСКОГО ПАТРИАРХА ЕВФИМИЯ

Проблемам этнической истории уделяют в наши дни все большее внимание и советские историки, и ученые социалистических стран. В последние десятилетия появилось значительное количество исследований, посвященных различным аспектам этносоциальной и этнокультурной истории славянских народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе формированию этнического самосознания как важнейшего компонента в процессе становления народностей и наций [1].

Вопрос о степени развития этнического самосознания в период зрелого феодализма для Болгарии имеет особую актуальность, поскольку с конца XIV в. страна оказалась включенной в состав империи, резко отличающейся и в этническом, и в конфессиональном отношении. По единодушному мнению исследователей, именно высокий уровень этнического сознания болгарской народности к концу XIV в. оказался одним из главных факторов сохранения этнической самобытности болгар в период полутысячелетнего османского господства [2—8].

Для характеристики данного аспекта сознания образованных слоев болгарского общества в период непосредственно предшествующий османскому завоеванию большое значение имеет реконструкция взглядов по этнической проблематике последнего болгарского патриарха Евфимия (1375—1393). Его жизнь и деятельность приходится на переломный период в истории Балкан. С точки зрения политической ситуации это было время почти непрерывных региональных войн и усиления феодальной раздробленности. Ситуация осложнялась тем, что начиная с 40-х годов в межгосударственных усобицах начали принимать активное участие турки. А ко времени вступления Евфимия на патриаршую кафедру ими были захвачены все земли к югу от Балканского хребта. Болгария и Византия стали вассалами турецкого султана. Патриаршество Евфимия отмечено его активной церковно-административной, общественной и литературной деятельностью. Объединив вокруг себя значительную группу подвижников, идейная платформа которых базировалась на доктринах широко распространенного в те годы на Балканах богословско-философского течения под названием исихазм, Евфимий выступил инициатором проведения в Болгарии реформ письменности и богослужебной практики, направленных на их унификацию с целью предотвращения возможностей появления ересей [9; 10]. Одновременно он вошел в историю славянской литературы как один из наиболее ярких и даровитых писателей, оказавший значительное влияние на развитие культуры Болгарии, Сербии, Молдавии, Московского княжества и других восточнославянских земель. В сознании болгарского народа с именем патриарха Евфимия неразрывно связана

Макарова Ирина Феликсовна — аспирантка Института славяноведения и балканистики АН СССР.

оборона Тырнова в 1393 г. от османских войск. В отсутствие царя Ивана Шишмана он возглавил оборону столицы, а затем мужественно разделил судьбу тысяч своих соотечественников, отправившись вместе с ними в изгнание.

В течение последних десятилетий существования Второго Болгарского царства Евфимий был признанным духовным лидером болгарского общества и одновременно мощного движения в среде славянских книжников-исихастов, движения, получившего в историографии название Тырновской книжной школы. Поскольку Тырновская школа объединяла в конце XIV в. довольно узкую элитарную группу идейных единомышленников, то можно предполагать, что в сознание ее лидера были включены основные мировоззренческие установки ее представителей. Таким образом, попытка реконструкции этнического самосознания патриарха Евфимия в некоторой степени позволит судить и о представлениях по данному вопросу той части элиты болгарского общества, которая во многом определяла характер культуры последних лет существования Болгарского царства, т. е. об этнических воззрениях старшего поколения книжников Тырновской школы.

Для реконструкции такого рода представляется правомерным рассмотреть сохранившиеся сочинения Евфимия Тырновского, в которых так или иначе нашли отражение взгляды автора. Для анализа использованы его агиографические произведения: Жития Ивана Рильского [11, S. 5—26], Иллариона Могленского [11, S. 27—58], Параскевы Епиватской-Тырновской [11, S. 59—77], Филофеи [11, S. 78—99]; Похвальные слова Константину и Елене [11, S. 103—146], святомученице Неделе [11, S. 147—169], Михаилу Воину [11, S. 170—202], Иоанну Полиотскому [11, S. 181—202], а также Служба царице Феофане [11, S. 255—277]. Поскольку степень личного участия Евфимия в редактировании Синодика царя Борила вряд ли поддается определению, а следовательно не представляется возможным установить, до какой степени текст этого памятника отражает самосознание последнего болгарского патриарха, то в данном случае он привлекаться не будет. Следует также отметить, что в сколь-либо полной мере дать представление об этническом самосознании патриарха Евфимия и возглавляемой им школы может лишь комплексный анализ всей многосторонней деятельности этой школы за период второй половины XIV — середины XV в. До сих пор таких работ нет. В данной статье ставится гораздо более узкая задача — анализ сочинений Евфимия с точки зрения отражения в них этнических воззрений автора.

Историография рассматриваемого вопроса при всем обилии исследований, посвященных литературной деятельности Евфимия, довольно скудна. Оценка же его этнических представлений в литературе обычно сводится к проблеме патриотизма. Отсюда двоякая и во многом взаимоисключающая оценка этого аспекта сознания болгарского патриарха у различных авторов. Часть исследователей, в первую очередь болгарских, исходя в основном из героического поведения Евфимия при обороне Тырнова от османских полчищ в 1393 г., акцентирует патриотическую направленность сознания тырновского патриарха [12—19]. Наиболее последовательно эта точка зрения была, пожалуй, сформулирована Й. Андреевым, который считает, что Евфимий — «великий патриот, для которого национальные проблемы стояли выше всех других общественных и религиозных устремлений» [14, с. 315].

Диаметрально противоположной позиции придерживались русские дореволюционные ученые, занимавшиеся проблемами религиозного движения в Болгарии в XIV в. [20; 21], а в наше время ряд зарубежных историков [22—25]. Их мнение основывается на основных положениях исихазма, который, в частности, подразумевает христианско-космополитическую позицию в вопросе отношения к различным народам [26, с. 70—72]. Поскольку Евфимий долгие годы был лидером исихастского движения в Болгарии, то его позиция автоматически, без специального анализа причисляется к разряду христианско-космополитической. Данная точка зрения впервые была сформулирована еще в XIX в. П. А. Сырку [20, с. 324],

а в наши дни подтверждена Д. Оболенским, который считает даже возможным говорить о наличии на Балканах во второй половине XIV в. своеобразного «исихастского интернационала», идеологи которого, а следовательно, и Евфимий, пропагандировали идею единения всех православных народов в рамках «Византийского содружества наций» (*Byzantine Commonwealth*) [22, р. 302]. В связи со столь противоречивой оценкой этнического самосознания Евфимия Тырновского различными исследователями необходимо специально рассмотреть содержащийся в его произведениях материал по этнической проблематике.

Сразу отметим, что, в целом, интерес к этническим вопросам не типичен для автора. В этом смысле непосредственно сам текст житий и похвальных слов содержит минимальное количество материала. Они осознанно выдержаны в рамках канонов исихазма и являются образцами христианской, внеэтнической идеологии. Иначе обстоит дело с историческими справками, которые завершают каждое из сочинений и содержат краткую информацию о судьбах мощей описываемых святых и об обстоятельствах их появления в Болгарии. В данном случае автор вынужден описывать конкретные события, связанные с политической историей Балканского полуострова, а в результате невольно проявляется его отношение к различным категориям населения, жившим в регионе. Именно этот заключительный раздел сочинений Евфимия и обеспечивает основную массу материала, который позволяет судить об этнических воззрениях болгарского иерарха.

В тексте представлены четыре основные группы населения, которые более или менее могут быть соотнесены с этносами: болгары, греки, крестоносцы-«римляне» и «агаряне»¹. Среди этих групп болгарская тематика занимает наиболее значительное место. Можно выделить следующие понятия, в связи с которыми употребляется термин «болгарский»: Болгарское царство или держава, болгарский царь, болгарский скипетр, болгарский архиепископ, болгарские города, болгары, болгарский род, болгарский народ, болгарские соотечественники. В целом этот термин включает все основные стороны проявления независимой народности и ее государства. Главенствующее место принадлежит понятиям «Болгарское царство» и «болгарский царь». Именно с ними связаны обширные экскурсы в историю Болгарии и описание ее военных побед в XIII в. Главными героями, которые персонафицируют в себе понятие «царство», выступают цари Калоян (1197—1207) и Иван Асень II (1218—1241). Евфимий останавливается на их борьбе за византийское наследие, подробно перечисляя захваченные греческие территории [11, S. 56] и описывая военные столкновения с латинскими рыцарями [11, S. 70]. В Похвальном слове Иоанну Полипотскому помещен даже подробный рассказ о разгроме крестоносцев под Адрианополем в 1205 г. и о пленении Калояном латинского императора Балдуина [11, S. 197].

Обращает на себя внимание, однако, тот факт, что у Евфимия нигде не воюют болгары, а воюет лишь Болгарское государство во главе со своим царем. Сам же этноним болгары употребляется только в трех случаях: для обозначения воинов царя Калояна в сцене пленения Балдуина [11, S. 197]; в панегирике Параскеве, где она объявляется заступницей и хранительницей болгар [11, S. 74]; для указания национальности родителей Ивана Рильского [11, S. 7]. Но в первом случае речь идет скорее не об этнической характеристике, а о подданстве, поскольку в пленении Балдуина самое активное участие принимали половцы. Во-втором, по-видимому, отражено осознание Евфимием болгар и как особого этноса, и как подданных болгарского скипетра, поскольку в аналогичном контексте панегирика царице Феофане речь идет определенно о государственном патронаже: «Ты еси Българом красота, заступница же и хранительница...» [11, S. 74] — «...скипетру Българскому пособнице и известная представительнице...» [11, S. 258]. Одновременно автор, бесспорно, осознавал

¹ Упоминание прилагательного «вугрьский» в Житии Ивана Рильского носит эпизодический характер и не позволяет делать выводов о его смысловой нагрузке.

и чисто этническое содержание понятия «болгары». Лучшее тому подтверждение — два отрывка из Жития Ивана Рильского: «...блаженного убо сего родителие... Българе же родом...» [11, S. 7], «...моли сы всемилостивому владыце спасти твоя съродники едиnorodный ти езых Българский...» [11, S. 26]. Сочетание терминов род, сродники, едиnorodный, народ (езых) показывает, что этническое сознание Евфимия базировалось на осознании кровного родства болгар как особой этнической общности.

Этническое объединение осуществляется, таким образом, по родовому признаку, но этот признак имеет второстепенное, подчиненное значение по сравнению с отношениями подданства, что в целом типично для общественного сознания эпохи феодализма [27, с. 259]. В результате главной этнической категорией оказывается не болгарский народ, а Болгарское царство и царь, которые этот народ олицетворяют. Чувство гордости и патриотизма, которые неоднократно отмечали в произведениях Евфимия болгарские исследователи, связаны в первую очередь именно с их деятельностью.

Хотя черты патриотизма несомненны в сочинениях болгарского патриарха, однако, в целом этническая заостренность для них не характерна. Если обратиться к этнической принадлежности героев Евфимия, то окажется, что ею обладает лишь Иван Рильский — национальный болгарский святой. Для остальных, в лучшем случае, указывается место рождения (город или село), которое и фигурирует под термином отечество. Интересно отметить, что Евфимий не склонен в спорных ситуациях приписывать святым славянское происхождение, как это нередко делают историки нового времени. Так, архиепископ Филарет считал, что Параскева — славянского происхождения [28, с. 146], а Паисий Хилендарский не сомневался, что Михаил Воин родом болгарин [29, с. 93]. Более того, проблема этнической принадлежности даже в отношении Ивана Рильского, как это верно подметил Д. Ангелов [12, с. 61], автором умышленно снимается. Болгарский святой сам в житии провозглашает, что истинное его отечество — «вышний Иеросолим» [11, S. 13]. А Михаил Воин, возможный кандидат в славяне (по месту рождения) [11, S. 173], также по воле агиографа оказывается «гражданин высшего Иеросолима» [11, S. 173].

С другой стороны, обращает на себя внимание, что Евфимий мало интересуется этническими различиями в среде православных народов (о «греках» речь пойдет далее). Этническому принципу ориентации на местности он однозначно предпочитает территориально-географический. Названий даже ближайших соседей болгар — сербов, влахов, не говоря уже о восточнославянских народностях, на страницах его сочинений нет. Описывая, например, блестящие военные победы царя Ивана Асеня на греческой территории, Евфимий подробнейшим образом перечисляет захваченные города и области от Адрианополя до Драча [11, S. 173], но нигде не упоминает, что таким образом были завоеваны греки, албанцы, вlahи и т. д. А при описании аналогичных побед царя Калояна, автор невзначай сообщает, что в результате их Калоян «многы грады же и веси поплени же и разори... люди же вься и еще же и скоти вься на свою пресели дръжаву» [11, S. 93]. Создается впечатление, что для единоверцев единственно важным оказывается сменить подданство, чтобы стать полноправными гражданами Болгарского государства. Здесь, возможно, сказывается принятие автором традиционной византийской государственной доктрины, популярной в XIV в. в среде константинопольских исихастов [25], согласно которой равноправие народов империи определялось единством веры и подданства императору, а не этническим фактором. Свидетельством тому является и высказывание Евфимия, посвященное деятельности Константина Великого: «...спасному благодетельству подражае, вьсемь езыхом и народом благоподателну простираеши десницу, вьсем обилно вьса подавае» [11, S. 136]. На это же указывает и конфессиональная классификация населения, приведенная им в Похвальной слове святомуученице Неделе: главная героиня и кесарь-язычник удаляются в языческий храм, чтобы продемонстрировать силу своих богов, «народи же, видевши,

яко в цръковь поидоша, утеком тамо съхощааху ся; эллини убо радуяше ся, християне же поникли и сетуяше» [11, S. 153]. Здесь термин народ употреблен явно для обозначения обычной количественной совокупности, размежевание которой происходит по веропринатности.

Приоритет конфессиональных категорий над этническими у Евфимия не случаен. Такая позиция была типична для средневековья. Не случайно одним из самых ценных военных трофеев в то время были мощи христианских святых. Тырново, например, в период патриаршества Евфимия гордилось многочисленными мощами греческих святых, собранных, в основном, в результате победоносных войн Калояна и Ивана Асеня II. И все они, если судить по сочинениям Евфимия, являлись небесными патронами болгарского скипетра, который на протяжении столетий был в состоянии почти непрерывной военной конфронтации с их «земной» родиной.

Византийская, или, если следовать автору, греческая тематика занимает второе по значимости место в его произведениях. Она представлена следующими понятиями: греческое царство или держава, греческая земля, греческий скипетр, греческая власть и греческое начальство, греческое насилие, греки, греческий род. Доминирует понятие «царство». Поскольку в контексте речь идет в основном о борьбе болгарских царей за византийское наследие в период существования Латинской империи, то эта категория заменяется автором часто более точной исторической реалией — греческая земля. В отличие от болгарского варианта, тема греческого царя и скипетра выражена слабо, вероятно, в силу тех же исторических условий. Понятия «греческий род» и «греки» встречаются только однажды — в Похвальном слове Михаилу Воину. Автор сообщает, что «повоеван беше от Римлян весь Гръчъский род» [11, S. 173], а царь Калоян, воспользовавшись ситуацией, «на Гръкы препояса ся и въся грады их разори» [11, S. 178]. В обоих случаях автор вряд ли имеет в виду этнос, поскольку полиэтничный характер византийских территорий был Евфимию прекрасно известен. Поэтому данный этникон используется скорее для указания того общего, что объединяло все население Византии перед лицом еднoверного, но враждебного государства, т. е. для указания подданства. Сама же греческая тематика оказывается, таким образом, для Евфимия проблемой не этнической, а скорее государственного подданства и межгосударственных отношений.

Центральное место в повествовании занимает описание военных столкновений между Болгарией и обломками Византийской империи в первой половине XIII в. С поразительным спокойствием Евфимий говорит об удачах царя Калояна и Ивана Асеня при разгроме того, что уцелело от Византии после нашествия крестоносцев. Военными успехами Болгарского царства автор явно гордится. И хотя позиция Евфимия далека от столь распространенной в средневековой болгарской литературе грекофобской направленности, однако, некоторые негативные нотки в адрес империи все же улавливаются, причем не в каких-либо конкретных высказываниях, а в общем тоне повествования исторических справок, где постоянно противопоставляется упадок Византии и ее разгром крестоносцами в XIII в. победам болгар: «В тоже время царство Българское, крепко суще и сильно зело, въся окрестныя страны объемлеше же и покараеше» [11, S. 95]. Сам, возможно, того не желая, автор невольно подхватывает интонацию многовековой вражды двух соседствующих балканских государств.

Одновременно Евфимий, по-видимому, осознавал роль Константинополя как верховной столицы всех православных государств. В Службе царице Феодане он пишет: «Радует се дьнес славный град Тръновский и иже градом царствующаго съзывает, глаголющи: Сьрадуи ми се, мати градовом, яко, их же ты породил, в них же ... и помощники и заступники тех стежах». Об этом же свидетельствует и позиция Евфимия Тырновского по вопросу упоминания при богослужении имени константинопольского патриарха, вопросу, который вызвал резкое столкновение между его предшественником на патриаршей кафедре Феодосием и царьградской патриархией [30]. Евфимий вносит в свой служебник имя константинопольс-

кого патриарха [11, S. 300], что указывает на признание автором решений Второго и Четвертого Вселенских соборов, согласно которым царьградский патриарх стоит выше всех других самостоятельных православных иерархов [18, с. 40], т. е. на признание внутренней иерархической структуры православного мира как единого целого.

Налицо определенная двойственность в отношении Евфимия к Византии: она одновременно воспринимается им и как обычное вполне уязвимое государство, и как надгосударственная православная империя. Отделение мирских проблем от духовных, по-видимому, было характерно для мировоззрения не одного Евфимия, а для балканских исихастов XIV в. в целом, на что указывает, в частности, популярность в их среде византийского сборника правовых норм IX в. под названием «Эпанагога» [25, р. 116], резко разделявшего сферы влияния императора и патриарха. В сборнике давалось теоретическое оправдание двойственности того мира, в котором жил Евфимий и его современники (внутреннее духовное единство всех православных народов и бесконечные региональные войны между государствами, разъединяющими эти народы). Следствием именно этой двойственности является, возможно, и сочетание болгарского патриотизма с православным космополитизмом, которое наблюдается в сочинениях болгарского патриарха. Автор одновременно и гордится победами Болгарского царства над Греческим, и осознает их неразрывное внутреннее единство в рамках единого духовного целого.

Народы, исповедующие католицизм, представлены в тексте только в одном качестве — рыцарей, участников IV крестового похода, создавших в 1204 г. на развалинах Византии Латинскую империю. Они выступают под двумя наименованиями: римляне и фряги. Первое наименование, являясь производным от названия религиозного центра католического мира, указывает не на государственную, а на конфессиональную принадлежность пришельцев.

Об этом свидетельствует и восприятие автором города Рима в качестве истинной столицы крестоносцев. В Житии Параскевы, описывая разграбление Константинополя, он прямо противопоставляет два вероисповедных центра: «Царствующий убо якоже удръжаще град, въсе светлые съсуды бестудне възьмше и еще же и чъстные светых мощи, цръковную же въсу утварь ... и въсу ... града красоту, въса в Рим отпустише же и отслаше» [11, S. 69].

Ко второму наименованию примыкают понятия «род фряжский», «царь от фряг» и выражение «поставили царя от колена своего» [11, S. 197], которые характеризуют термин «фряги», на первый взгляд, как этникон. В средневековой славянской литературе фрягами обычно называли генуэзцев и итальянцев в целом [31, с. 779]. Однако состав участников крестового похода был многонациональным. Объединяющим началом этого многонационального воинства выступала римская католическая церковь. Термины «римляне» и «фряги» употребляются в контексте равнозначно. Создается впечатление, что для Евфимия этникон «фряги» является одновременно и обобщенно-этническим наименованием всех народов католического мира, и синонимом их конфессионального определителя. В его создании происходит как-бы смешение и замена этнической категории вероисповеданной. Но последняя при этом расширяет свои границы, приобретает функции, свойственные этническому понятию, указывая на род и колено.

Государственная принадлежность крестоносцев в тексте не определена. Их первоначальное подданство Евфимия абсолютно не интересует, все они для него лишь римляне-католики. Относительно же их нового гражданства, т. е. правового отношения к Латинской империи, Евфимий занимает довольно любопытную позицию. Понятия «держава», «скипетр» или их эквиваленты ни разу не применяются, хотя термин «царь» однажды в контексте встречается [11, S. 197]. Процесс утверждения западных рыцарей на Балканах описан везде приблизительно по одной формуле: «Божим бо тогда поущением ... до конца повоеван беше от Римлян весь Гръческий род, елико съ въсеми и царствующий Константин под

собою имети град и въся окрестные его страны на лета многа» [11, S. 173], т. е. факт смены подданства бывшими гражданами Византии для автора бесспорен. Но одновременно Евфимий продолжает называть эти захваченные крестоносцами византийские земли не Латинским или каким-либо еще царством, а по-прежнему Греческой державой [11, S. 197]. По-видимому, западные рыцари воспринимались Евфимием только как временные завоеватели империи, а не основатели нового государства. В результате столь важные для средневековья отношения подданства для крестоносцев оказываются не существенными, вытесняясь отношениями конфессионального единства. Таким образом, характеристика крестоносцев фактически лишена указания и на их этническую принадлежность, и на государственное подданство. Главным для Евфимия является их римско-католическое вероисповедание. Восприятие автором католиков однозначно враждебное как врагов веры, «нечестивых» [11, S. 70].

Народы мусульманского мира занимают на страницах произведений Евфимия Тырновского неожиданно скромное место. Под общим именем «агаряне» они упоминаются в тексте всего лишь четыре раза [11, S. 93, 174, 196]. И хотя агарянам сопутствует эпитет «безбожные» [11, S. 93], упоминания эти носят краткий, эмоционально нейтральный характер и связаны только с эпизодическими военными столкновениями времен царей Калояна и Ивана Асеня II, т. е. с первой половиной — серединой XIII в. Следовательно, речь идет о турках-сельджуках, а не турках-османах, от которых страдали современные Евфимию балканские народы. Эта деталь до некоторой степени характеризует восприятие автором турецкой народности. Известно, что ядро сельджукидов составляло племя кынык, а османидов — племя кайы [32, с. 107]. Для Евфимия все турки едины. По-видимому, этнические особенности в среде турецких племен были автору глубоко безразличны.

С другой стороны, Евфимий ни разу не упоминает никаких понятий, связанных с представлениями о государственности у турок. Они для него всегда лишь безликая масса агарян или даже просто варваров. Им отказано и в этнической характеристике, и во внимании к их отношениям подданства. Все это вместе с общим характером повествования создает впечатление, что турки не занимают особого места в сознании болгарского патриарха. Во всяком случае, католики вызывают у него большее количество негативных эмоций. В целом, Евфимий воспринимает турецкие племена, по-видимому, исключительно с точки зрения их враждебного конфессионального единства, без какой-либо дополнительной классификации.

Таким образом, в отношении народов католического и мусульманского мира этническая проблематика в сочинениях Евфимия практически заменена конфессиональной. Если этническая структура болгар характеризуется тремя таксономами: род — подданство — вероисповедание; греков — двумя: подданство — вероисповедание; то в отношении народов, исповедующих католичество и ислам, эта структура оказывается одночленной и, по-существу, внеэтнической.

Возвращаясь к оценке характера этнического сознания патриарха Евфимия в современной историографии, следует отметить, что по-своему, оказываются правомерными обе точки зрения: и «патриотическая», и «космополитическая». С одной стороны, внешнеполитические проблемы Болгарского царства действительно волнуют тырновского патриарха более всех других проблем, относящихся к прерогативе светской власти. Идет ли речь о столкновениях с Византией или с крестоносцами, Евфимий выступает как безусловный патриот болгарского скипетра. Не чуждо ему и ощущение кровных, родовых связей со своими соотечественниками — болгарями. Не случайно из всех групп населения лишь болгары выступают на страницах его произведений в роли этноса, в то время как другие народы ему интересны лишь с точки зрения подданства или веропринадлежности. Создается впечатление, что болгарская народность является для Евфимия как бы центром его этнической картины мира, по мере же удаления от Болгарии эта картина размывается, переходя все

более в однозначно конфессиональную. Одновременно Евфимий, безусловно, осознавал внутреннее духовное единство православных народов. Возможно, именно поэтому этническая картина Балканского региона оказывается в его произведениях слабо дифференцированной, и предпочтение отдается не этническому, а территориально-географическому принципу ориентации на местности.

В целом можно сказать, что этническая проблематика представлена в сочинениях как бы на двух уровнях: идеологии и обыденного сознания. В рамках идеологии Евфимий строго и осознанно придерживается позиции православного космополитизма как единственно возможной для исихастского лидера. На уровне обыденного сознания он патриот независимого болгарского государства. И если с точки зрения идеологии этническое самосознание автора по сути лишено иерархической структуры, являясь однозначно конфессиональным, то в границах обыденного сознания оно представляет собой достаточно типичную для эпохи зрелого феодализма этносоциальную модель, органично включающую осознание своей родовой общности, государственной и вероисповедной принадлежности, чувство гордости за историческое прошлое отечества [2].

Подводя итог анализу материала по этнической проблематике, содержащегося в сочинениях Евфимия Тырновского, можно отметить, что реконструируемая на его основе картина этнического самосознания болгарского иерарха в целом по направленности совпадает с двумя аспектами его деятельности в качестве патриарха Второго Болгарского царства. В вопросах, лежащих в сфере идеологии и церковной практики, Евфимий последовательный и убежденный исихаст. Одновременно при решении проблем повседневной жизни у него проявляется реалистический взгляд на мир и развитое чувство болгарского государственного патриотизма. Думается, что постановка вопроса о приоритете — идеология или обыденное сознание — в отношении Евфимия Тырновского вряд ли правомерна, поскольку сочетание в его сознании православного космополитизма и державного патриотизма является достаточно естественным отражением двойственного характера современной ему эпохи, сочетавшей внутреннее духовное единство всех православных народов с постоянными региональными войнами, ведущимися этими же самыми народами в борьбе за местные государственные интересы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983, с. 176—177, 180.
2. Литаерин Г. Г. Особенности развития самосознания болгарской народности со второй четверти X до конца XIV в. — В кн.: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989.
3. Цветкова Б. Опазване на българската народност и изяви на народностно съзнание през XV—XVIII в. София, 1972.
4. Иванова Э. Формирование и развитие национального самосознания болгар эпохи национального возрождения (до 70-х гг. XIX в.): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. М., 1985.
5. Радкова Р. Националното самосъзнание на българите през XVIII и началото на XIX в. — В кн.: Българската нация през Възраждането. София, 1980, с. 178—238.
6. Йошов М. Чуждите пътешественици за народностното съзнание у българите през XV—XVIII век. — Векове, 1972, № 5. с. 25—34.
7. Грозданова Е. Ролята на традиционната селска община за опазване на българската народност и народностното самосъзнание. — В кн.: Българската нация през Възраждането. София, 1980, с. 139—177.
8. Георгиева Ц. Идеята за държавност и съхраняването на българския народ в ранните векове на османското владичество. — В кн.: I Международен конгрес по българистика. София, 1981, Доклади. София, 1982, с. 129—141.
9. Кочев Н. Към въпроса за философската страна на Евтимиевата реформа според «О письменах» на Константин Костенечки. — В кн.: Тырновска книжовна школа. Т. 2. София, 1980, с. 239—245.
10. Чифлянов Б. Богослужбната реформа на патриарх Евтимий. — *Studia Balkanica*, 1974, № 8, с. 31—41.
11. Kaluzniacki E. Werke des patriarchen von Bulgarien Euthymius. Wien, 1901.
12. Ангелов А. Исихазмът — същност и роля. — *Старобългаристика*, 1981, № 4. с. 56—78.

13. *Ангелов Д.* Патриотизмът в Средновековна България.— В кн.: Прослава на Велико Търново. София, 1978, с. 140—148.
14. *Андреев Й.* Народностно-патриотични тенденции в Синодика на българската църква.— В кн.: Търновска книжовна школа. I. София, 1974, с. 311—316.
15. *Богданов И.* Патриарх Евтимий. Книга за него и неговото време. София, 1970.
16. *Диевков И.* Личността на Евтимий Търновски.— В кн.: Старобългарска литература. София, 1980, с. 3—21.
17. *Иванчовски И.* Нравственият образ на патриарх Евтимий Търновски.— Духовна култура, 1975, № 1, с. 5—19.
18. *Попов Хр.* Евтимий, последен търновски и трапезицки патриарх. Пловдив, 1901.
19. *Христовулова М.* Из живота и общественно-политическата дейност на патриарх Евтимий.— Исторически преглед, 1977, № 5—6, с. 237—249.
20. *Сърку П. А.* К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке. Т. I, ч. 1. СПб., 1898.
21. *Радченко К. Ф.* Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898.
22. *Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500—1453. New York, 1971.
23. *Herpell M.* The hesychast movement in Bulgaria: The turnovo school and its relations with Constantinople.— Eastern Churches Review, 1975, № 7, p. 9—20.
24. *Meendorff J.* Byzantine hesychasm: historical, theological and social problems. London, 1974.
25. *Meendorff J.* Byzantium and the rise of Russia: A study of Byzantine-Russian relations in the fourteenth century. Cambridge, 1981.
26. Святого отца нашего Максима (Исповедника). О любви. СПб., 1819.
27. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
28. *Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский.* Святые южных славян. Опыт описания жизни их. Кн. II. Чернигов, 1865.
29. *Паисий Хилендарский.* Славяно-българска история / Под ред. на П. Диевков. София, 1963.
30. Грамота патриарха Каллиста.— В кн.: Житие Григория Синаита, составленное константинопольским патриархом Каллистом. Труд П. А. Сърку. СПб., 1909, с. VIII—XIV.
31. *Дьяченко Г.* Полный церковно-славянский словарь. М., 1900.
32. *Еремеев Д. Е.* Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории). М., 1971.



ТИТОВА Л.

РУССКО-ЧЕШСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

(Музыка, театр, изобразительное искусство)

Художественные связи на протяжении веков содействовали взаимообогащению культур русского и чешского народов, увеличению их вклада в мировую культуру. Этот процесс по-разному протекал на разных исторических этапах.

В ряде работ русских и чехословацких ученых исследовалась история взаимоотношений между деятелями культуры и искусства, художественными течениями и школами (В. А. Францев, Н. Ф. Финдейзен, Йоз. Ирасек, Йоз. Сханицец, Зд. Неedly, а в наше время — И. Ф. Балза, К. И. Ровда, С. В. Никольский, Л. С. Кишкин и др.) в эпохи, когда художественные связи активизировались и становились формообразующими в культуре.

Одна из закономерностей в развитии связей — их оживление при нарастании общественного движения («в моменты больших исторических поворотов», по словам Конрада. Например, связи чехов и моравян с Византией и Русью в конце IX — X в., эпоха гуситского революционного движения, петровские преобразования.) Новым этапом чешско-русских связей стала эпоха чешского национального возрождения (70-е годы XVIII — первая половина XIX в.). Начиная с 60-х годов XIX в. намечается новый этап активного освоения достижений русской культуры (в области литературы, драматургии, изобразительного искусства). В свою очередь, заметный след в культуре того времени оставили деятели чешского искусства, которые подолгу жили и работали в России (Э. Направник, Ф. Лауб, А. Томишек).

На каждом историческом этапе процесс художественных взаимоотношений протекает по-разному — с неодинаковой степенью интенсивности, оказывая влияние на культуру в целом. В свою очередь тип культуры, обладая только ему присущей спецификой, воздействует на характер художественных взаимоотношений. Так, в эпоху формирования славянских наций и становления национальной культуры, они тесно переплетались с просвещением, с развитием периодической печати, народного творчества, с возникновением культурных центров. Все это накладывало свой отпечаток на способ усвоения чешским обществом инонациональных литератур и искусств, на отбор произведений для перевода и на многое другое.

При рассмотрении художественных связей на этапе чешского национального возрождения неизбежно возникает вопрос о взаимоотношениях формирующегося чешского искусства с искусством немецким, с одной стороны, и славянским — с другой. Эти вопросы сплетены в тугой узел.

Титова Людмила Николаевна — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

Существование чешской культуры в контексте высокоразвитой немецкой культуры и в то же время опасность ассимиляции — эти два момента в немалой степени определяли характер и ее развития, и ее связей и отношений.

Не претендуя на полноту освещения темы, попытаемся показать, как развивались русско-чешские художественные связи в эпоху чешского национального возрождения, их место, роль и значение в становлении и развитии национальной чешской художественной культуры.

Следует сразу же оговориться, что типы взаимодействия в области художественной культуры чрезвычайно разнообразны: это и личные контакты, и информация в прессе, и воздействие произведений иной культуры, и их переводы, и, конечно, художественная жизнь: выставки, концерты, постановки, совместные выступления в важных общеславянских мероприятиях и т. д. Все эти типы взаимодействия рассматриваются как в пределах одного вида искусства, так и в контексте взаимодействия всех искусств как большой и единой системы. «Каждое отдельное искусство представляет в своем особенном способе внешнего формирования целостность форм искусства» [1].

Если мы обратимся к отдельным областям художественной культуры, то окажется, что наиболее интенсивные связи в интересующий нас период наблюдаются в музыкальной области. Здесь выявляется достаточно яркая картина проникновения чешского музыкального искусства в русскую среду. Уже на этапе Просвещения (70-е годы XVIII — начало XIX в.) Чехия считалась «консерваторией Европы», и это не могло не отразиться на ее международных связях.

Чешский искусствовед В. Гельферт писал: «Войдя в европейскую музыкальную жизнь, чешская музыка оказала на нее известное влияние двумя путями: во-первых, характером творчества чешских композиторов у себя на родине, а во-вторых, творчеством тех чешских музыкантов, которые, покинув свою родину, творили за ее границами» [2].

Русская периодика рубежа XVIII—XIX вв. содержит многочисленные данные о музыкально-педагогической, творческой и исполнительской деятельности чехов, которые участвовали в русской художественной жизни, воспринимали достижения русской музыкальной культуры, изучали ее народные истоки, постигая общность славянских музыкальных культур, основанную на общности этих истоков. В то же время они вносили в нее и свой собственный опыт.

В Петербургском «Лирическом Музеуме, содержащем в себе краткое начертание истории музыки с присовокуплением: Жизнеописаний некоторых знаменитых артистов и виртуозов оной» встречаются имена Фр. Бенды, Я. Ваньгала, Я. Дусика, Л. Кожелуга, Я. А. Мареша.

Я. А. Мареш (1719—1794) завоевал широкую известность в России, прежде всего, как подлинный реформатор роговой музыки, широко распространенной в аристократическом быту, непременно звучавшей и в концертах, и на охотах. Мареш — композитор, валторнист и виолончелист, совмещал службу у Нарышкина в качестве капельмейстера с работой в придворном оркестре роговых инструментов, в программы которого входили симфонии Моцарта, Гайдна и произведения, специально написанные для этого оркестра — сцены охоты и пр. Я. А. Мареш создал свой оркестр роговых инструментов и руководил им свыше двадцати лет, написал для него множество сочинений (60—70-е годы XVIII в.). Кстати, о нем упоминает Й. К. Тыл в очерке «Вечер на Барвиржском острове» (1834), описывая выступление русского рогового оркестра княгини Салтыковой, гастролировавшего по Западной Европе в 1830—1835 гг., отмечает мастерство русских музыкантов.

Мировую известность завоевало «Собрание русских народных песен с их голосами» Я. Б. Прача — «выдающегося пражского музыканта» [3], по словам Ал. Кюи, выдержавшее три издания (1790, 1806, 1815). К «Собранию...» обращались в своем творчестве не только русские композиторы (в первую очередь, Римский-Корсаков), но и Бетховен. Фортепианное творчество чешского музыканта («Вариации на русские народные песни»

и др.) сыграло несомненную роль в развитии русской музыкальной культуры.

Чешские композиторы и исполнители оставили свой след в русском оперном и балетном искусстве на рубеже веков. На сценах столичных театров было поставлено несколько мелодрам И. Бенды («Ариадна на Наксосе», 1779, в русском переводе, Петербург; «Медея», 1781, на немецком языке, там же; двухактная комическая опера «Деревенская ярмарка», 1784, в русском переводе. Кстати, это была первая в ряду многочисленных чешских опер, посвященных быту села; монодрама «Пигмалион» на текст Руссо, 1794, 1800, Москва). Музыкально-драматические произведения И. Бенды, П. Враницкого («Оберон», 1798, Петербург), Ф. Блимы («Старинные святки», 1800, Москва) долгое время удерживались в репертуаре русских оперных театров.

Среди чешских музыкантов, принимавших активное участие в музыкальной жизни России, были А. Ванчура — интендант придворной оперы, издатель музыкального журнала в Петербурге; М. Керцель — пианист и композитор, основатель первой музыкальной школы в Петербурге (1783), Й. Керцель, редактировавший с 1774 г. журнал «Музыкальные увеселения» и другие — те, кто, по словам П. И. Чайковского, «посвятил свой талант и искусство служению искусству в России» (цит. по: [4]).

Этот список можно было значительно расширить, тем более, что существует большая литература, посвященная деятельности и творчеству чешских музыкантов в России [5—6]. Нам лишь хотелось подчеркнуть, что контакты в области музыкальной культуры в это время были достаточно значительными. При этом, разумеется, не следует забывать, что разбросанные по всей Европе чешские музыканты далеко не в одинаковой мере сохраняли и развивали национальные черты отечественной культуры.

Иной вопрос — русская музыка в чешской культурной среде этого времени. «Русская музыка начала представлять собой предмет систематического внимания в Чехии лишь с середины XIX в., когда имя Глинки стало символом национального новорусского направления. До этого в Чехии преобладал интерес скорее к фольклору и литературе, пробужденный главным образом „Отзвуком русских песен“ Фр. Л. Челаковского» [7] (см. также [8]). В эпоху чешского национального возрождения существовали лишь русские сюжеты в чешском оперном репертуаре. Так, в Сословном театре Праги в 1808 г. шла немецкая опера Г. Б. Бирея «Владимир, князь Новгородский». В 1828 г. она была поставлена уже на чешском языке в переводе С. К. Махачка. В репертуарных списках Сословного театра упоминается и опера Й. Вейгеля «Юность Петра Великого» (26 XII 1815). На сцене Сословного театра шла комическая опера Г. А. Лорцинга «Царь и плотник» в переводе Й. Печирека.

Периодом обостренного интереса чешской общественности к русской культуре были годы наполеоновских войн. Это выразилось в создании целого ряда крамаржских (ярмарочных) песен. Они были написаны и исполнялись в 1798—1799 гг., когда через Силезию и Моравию проходили русские войска под командованием Суворова. Это «Новая песнь в честь героических русских», изданная трижды в 1799 г.; «Ода в честь distinguished маршала Суворова и храброго русского войска» на слова и музыку М. Майбера — активного деятеля чешского театра рубежа веков; «О походе русского войска через Моравию в Королевство Чешское» Фр. Вавака; кантата в честь приезда Суворова в Прагу (исполнялась 22 XII 1799 г. во время торжественного спектакля Сословного театра). Кстати, нередко листовки, на которых традиционно печатались тексты этих песен, иллюстрировались изображениями русских солдат.

Интересной страницей русско-чешских связей в области музыкальной культуры стала «Черкесская песнь» из «Кавказского пленника» Пушкина, положенная на музыку В. Я. Томашеком — композитором-будителем. Она была опубликована в 1839 г. как музыкальное приложение к журналу «Ost und West» [9].

Эти, казалось бы, обособленные факты русско-чешских музыкальных

связей становятся звеньями культурного сотрудничества, подготавливая почву для дальнейшего его этапа — второй половины XIX в., когда работы русских исследователей дают читателю обширный материал о музыкальной жизни чешского народа, когда творчество русских композиторов становится предметом глубокого внимания чешского общества.

Одно из важных мест в развитии художественных связей принадлежит театру, обладавшему, по сравнению с иными видами искусства, наибольшими возможностями массового воздействия. В период чешского национального возрождения театр становится общественной трибуной, школой национально-патриотического воспитания, выразителем духовных устремлений времени. Близость театра к литературе, наиболее активно вступившей во взаимодействия, также обусловила степень его участия в такого рода контактах.

Первым известным фактом, позволяющим отнести зарождение непосредственных русско-чешских театральных связей к началу XVIII в., стали гастроли «богемской труппы» в Петербурге в 1723—1724 гг. Труппа, состоявшая из 12 «комедиантов» — восьми чехов и четырех немцев, была приглашена в Россию по инициативе Петра I [10].

Интересная страница истории чешско-русских театральных связей — деятельность в Москве труппы Фр. К. Штейнсберка (1757—1806). Из дневника С. П. Жихарева [11], оставившего воспоминания о театральной жизни Москвы и Петербурга в конце XVIII — начале XIX в., можно составить впечатление о деятельности труппы Штейнсберка в театре в Немецкой слободе в Москве. Фр. К. Штейнсберг — активный деятель чешского Просвещения: публицист, драматург (ему принадлежат исторические пьесы, в том числе, драма «Емельян Пугачев», 1777), директор театра «У Гиберну». Репертуар его московской труппы включал оперы Моцарта («Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»), П. Враницкого («Оберон»); драмы Шиллера («Разбойники», «Коварство и любовь»). Современники отмечали высокий художественный уровень спектаклей труппы, писали об отличных актерах, приглашавшихся Штейнсберком на главные роли из Праги.

Выше мы говорили о русских сюжетах в чешском оперном репертуаре на рубеже веков. Эти примеры можно продолжить и на драматургическом материале. «Драматическая поэма в шести отделениях Братья в Архангельске» В. Кл. Клицперы (1823) ставилась в Праге, Брно и Вене и содержала множество конкретных сведений о России.

Пьеса «Петр Великий или Царский сын перед судом» (1851) Й. К. Тыла свидетельствовала, как и многочисленные в то время статьи о Петре I в чешской прессе, о непрекращающемся интересе чешского общества к эпохе правления Петра Великого. Сама пьеса не сохранилась. О ней известно лишь из документа, найденного в архиве пражской ратуши. Цензор — советник пражской полиции Вебер подробно, на шести страницах, пересказывает ее сюжет (впрочем, далекий от исторической правды). Перечисляя ряд особо «опасных» мест, цензор считает, что цель пьесы — «прославить простой народ и опорочить лиц правящих». Тылу было отказано в разрешении на постановку «как из-за тенденции произведения, так и из-за воодушевления, с каким чешское население принимает подобные вещи» [12].

В 30-е годы XIX в. деятели чешского театра обратились к романтизму. Пушкин, Словацкий, Гюго, Байрон интересовали чехов, прежде всего, как поэты и прозаики, что находило отражение в их переводческой практике. Из Пушкина к этому времени были переведены лишь отрывки из «Бориса Годунова» (Я. Сл. Томичек, «Květu», 1835). Это была первая публикация русской драмы в чешском переводе (полный ее текст вышел в переводе В. Ч. Бендла лишь в 1859 г.).

Первыми постановками славянских авторов на чешской сцене стали произведения А. Фредро, Ю. Коженевского и Вл. Л. Анчица (см. [13]).

Систематически пьесы русских авторов ставятся на чешской сцене с 60-х годов XIX в. В первой половине XIX в. они не могли обрести сценической реализации, так как их проблематика оставалась чуждой чеш-

скому зрителю, не соответствовала уровню его общественного сознания. Иными словами, обращение к творчеству русских драматургов не было еще обусловлено внутренними потребностями отечественной драматургии, хотя современная критика — в лице Й. Кр. Хмеленского — уже обосновывала необходимость включения русских произведений в репертуар чешского театра.

Однако чешская общественность была знакома с творчеством русских драматургов раньше, чем их произведения появились на пражской сцене. В 1839 г. Я. Сл. Томичек опубликовал биографический очерк о Грибоедове в журнале «Ceská včela» (стихотворный перевод его комедии появился в журнале «Lumir» лишь в 1853 г., хотя в Германии и Польше переводы пьесы выходят из печати в 1831 г.). В 1849 г. К. Гавличек перевел «Лакейскую» Гоголя («Narodní povínu») — это первая русская пьеса, переведенная целиком.

С середины 20-х годов XIX в. чешская художественная критика обращает внимание на драматургию русских авторов. О творчестве Грибоедова пишет Й. Кр. Хмеленский в 1825 г., сообщая об успехах русского сценического искусства: «Большой отклик вызвала комедия Грибоедова „Горе от ума“». В 1831 г. он ратует за переводы «со славянских наречий»: «с русского и польского языков. «Ведь до сих пор ни одна такая пьеса не переведена на чешский язык». Критик указывает на пользу, которую будет иметь от этого отечественный язык: «Безусловно, мы меньше германизмов слышали бы вокруг, если бы почти все не переводилось с немецкого!» (цит. по: [14]).

Сведения о чешском театре, его репертуаре и актерах можно найти в 30—40-е годы скорее в корреспонденции русских славистов, посетивших Чешские земли, нежели в прессе. Наибольший интерес в этом отношении представляют письма П. И. Прейса Срезневскому, Куторге и другим ученым, в которых он подробно описывает свои впечатления от культурной жизни Праги того времени. «Чешский театр, о котором я столько слышал, — пишет Прейс М. С. Куторге 12 января 1841 г., — дается здесь — как бы тебе сказать — *из милости*. Немцы имеют удовольствие каждый день ходить в театр. Чехи раз в неделю — в воскресенье и в большие праздники. — Причем заметь, что эти представления Чешские с Мая по Сентябрь прекращаются. — Словом: в год бывает с небольшим до 30 представлений. Театр начинается после обеда в 4 часа, а в 6 должен быть кончен. Время очень удобное! Фарсы еще идут кое-как, порядочные пьесы также играют, но ощутительно плохо. Особенных талантов не имеется, за исключением двух, много трех, и те принадлежат обоим театрам, Немецкому и Чешскому. Пьесы большей частью переводные и опять с Немецкого... Подробности о театре Чешском будут сообщены в „Отечественные Записки“ Срезневским. — Я об этом его просил: это по его части. Будьте этими известиями довольны» [15, с. 39].

В письме И. И. Срезневскому (10 II 1841) Прейс подробно анализирует постановку популярной в то время в Праге пьесы Фр. Э. Гоппа «Домашняя шапочка Доктора Фауста», в течение нескольких лет не сходящей со сцены Сословного театра, отмечая «торжество таланта» ведущей чешской актрисы А. Манетинской-Коларовой — одной из «немногих талантов» чешского театра: «Манетинская играла так, что Вы бы не в состоянии были описать ее игры... Пустая Венская фрешка... сделалась для меня предметом, трогающим душу, сердце. Вы подумайте: она превзошла самое себя. Ни мало! Она была естественна. Но как? А так, что Вы должны были думать, что это не театр, а действительность, что Вы на сцене, что это Ваши знакомые... Минуты незабвенные! Не преувеличиваю, если говорю, что я не был в театре, я был в обществе добрых, веселых знакомых...» [15, с. 42, 43].

В области изобразительного искусства нельзя еще говорить о систематическом творческом содружестве, а скорее об отдельных фактах, носящих порой частный характер.

Хотелось бы упомянуть здесь о выставке картин чеха М. Хватала (Квадала) в Петербурге на Невском проспекте (в «Картинном шалаше»)

в 1803 г. По картинам Хватала создавали гравюры А. Ухтомский, И. Розанов и другие русские художники [16].

В России в начале XIX в. работали чешские художники и скульпторы: А. Эльснер, И. Хамбрез, Й. Плесс — гравер по меди, Й. Лекса. Его виды Москвы, Петербурга и Риги экспонировались в Праге в 1842 г.

Мы уже говорили об интересе к русским, отразившемуся и в изобразительном искусстве во время наполеоновских войн. В эти годы художник-миниатюрист и график И. Опиц (1775—1841) создает этнографические русские этюды («Русские крестьяне», «Одежда ярославских мешан» и др.), выразительные миниатюры из быта русских войск в Европе («Лагерь казаков на Елисейских полях», 1814).

Портрет Й. Добровского кисти О. А. Кипренского, написанный им в 1823 г. в Марианских Лазнях¹, портрет М. И. Глинки карловарского художника И. Кордика (1852) — все это звенья культурного сотрудничества между славянскими странами.

С 40-х годов XIX в. краткие отрывочные сведения о художественной жизни России, публиковавшиеся на страницах пражских журналов, уступают место серьезным работам ученых. Значительным вкладом в чешскую историю искусства стала статья русского исследователя А. Н. Попова «О старой чешской живописи», написанная в Праге в 1842 г. и опубликованная в журнале «*Casopis Českého Muzea*», а позже — в 1859 г., с большим иллюстративным материалом — в «Записках Императорского археологического общества» (т. XVIII).

Сведения о русской художественной жизни доходили до Чешских земель с большим опозданием. В 1848 г. известный чешский искусствовед Л. Риттерсберг в статье «Мысли о славянской живописи», опубликованной в журнале «*Květy*», сетовал: «Что касается других славянских народов, то нам остается только сожалеть, что наши сведения об их культуре — помимо литературы — так отрывочны и недостаточны... Если в Польше, либо вообще между славянами и встречается какой-либо талантливый художник, работающий на благо народного дела, чаще всего мы о нем ничего не знаем» (цит. по: [17, с. 10]).

Первый обзор русского искусства был сделан в Чехии Я. Б. Мюллером в Научном словаре Ригера лишь в 1868 г.

Значительных масштабов достигают контакты художников с Россией лишь в последней трети XIX в., скорее, на рубеже веков. Закономерно они становятся предметом более глубокого внимания и со стороны русской критики.

Итак, уже в период чешского национального возрождения можно говорить о взаимодействии и взаимообогащении русской и чешской культур. Их связи были двусторонними и достаточно интенсивными, хотя значение и характер у каждой из взаимодействующих сторон не были одинаковыми. История художественных связей в этот период — сложный и противоречивый процесс. Картина проникновения русского искусства в чешскую культурную среду довольно пестра. Трудно, почти невозможно уловить в ней ведущие тенденции. Несомненно одно, что все эти факты, посящие порой случайный характер, могут иногда показаться не очень значимыми, но они складываются в убедительную картину постоянного взаимодействия на его начальном этапе, высвечивая общность исторических судеб, близость национальных культур.

Эпоха чешского национального возрождения в истории чешско-русских художественных связей представляется периодом постепенного вхождения чешской культуры в сознание русской общественности, только подготавливающего предпосылки для будущего творческого воздействия. Влияние чешского искусства на искусство других народов, в том числе русского, при их неравномерном развитии, сказалось спустя длительное время — разное для разных областей искусства, причем зачастую в опо-

¹ Есть данные, что оригинал портрета находится в рукописном отделе библиотеки АН в Ленинграде (см. [17]).

средованной форме, через творчество деятелей культуры и искусства последующих поколений, хотя задано оно было уже тогда, в конце XVIII — первой половине XIX в.

В заключение хотелось бы отметить, что общность многих сторон русского и чешского искусства коренится не в работах того или иного чешского музыканта, художника в России или русского в Чехии (как мы видели, подобные факты имели место), а в несравненно более глубоких явлениях. Для эпохи чешского национального возрождения наиболее существенной была культурная близость родственных славянских народов, общие основы развития славянских культур, которые отчетливо проявляются не только в языке и литературе, но и в национальной музыке, театре, изобразительном искусстве. Русская культура в немалой степени формирует чешское национальное сознание, ту почву, на которой произрастают лучшие художественные произведения.

Изучение художественных связей должно способствовать более глубокому освещению истории культуры обоих народов, постижению закономерностей культурного процесса. Оно поможет более полно воссоздать картину русско-чешских взаимоотношений, традиции которых уходят далеко в глубь веков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. I. М., 1968, с. 88.
2. Гельберт Вл. Историческое значение чешской музыки XVIII ст.— Чехословацкая музыка. Прага, 1946. с. 18.
3. Русская музыка. Париж, 1880, с. 55.
4. Гинзбург Л. Фердинанд Лауб. М.—Л., 1951, с. 55.
5. Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России. Т. 1—2. М.—Л., 1928—1929.
6. Šchánilec J. Za slávou. Čtení o českých hudebnících v Rusku. Praha, 1961.
7. Löwenbach J. Ceskoruské vztahy hudební. Praha, 1947, s. 25.
8. Urban Zdr. F. L. Celakovský a ruská lidová slovesnost.— Československá rusistika, 1986, č. 3, s. 102—106.
9. Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků, sv. 3. Praha, 1976, s. 144—152.
10. Тимова Л. Н. Из истории театральной жизни в эпоху Петра I.— Советское славяноведение, 1972, № 5. с. 53—59.
11. Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955.
12. Businský Vl. Osud jedné Tylovy hry.— Sborník Národního muzea v Praze. Praha, 1957. Rada C. sv. 2, č. 1—2.
13. Тимова Л. Н. Польско-чешские театральные связи 30—50-х годов XIX в.— В кн.: Межславянские культурные связи. М., 1971, с. 137—147.
14. Dějiny českého divadla, sv. 2. Praha, 1969, s. 179.
15. Письма П. И. Прейса М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. О. Шафарыку, Курпату и др. (1836—1846). Материалы к истории славяноведения. СПб., 1892.
16. Конечны Д. Значение русской демократической культуры для развития чешского изобразительного искусства XX столетия.— В кн.: Пути развития и взаимосвязи русского и чехословацкого искусства. М., 1970, с. 12.
17. Samal J. Stará D. Repín a Praha. Praha, 1956.

МЕЖДУ ВУКОМ И ПУШКИНЫМ — ПЕРЕЛОЖЕНИЯ
СЕРБСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН А. Х. ВОСТОКОВА

Контакт между «Народными сербскими песнями» Вука и «Песнями Западных славян» Пушкина был опосредованным: посредником выступил русский филолог, исследователь версификации и поэт А. Х. Востоков (1781—1864) и его «Сербские песни» — переложение девяти сербских народных песен.

Время издания переводов Востокова, судя по всему, соответствует времени их создания.

1. Летом 1824 г. в альманахе «Северные цветы», редактором которого был друг Пушкина А. А. Дельвиг, под заголовком «Сербские песни» были напечатаны три перевода: «Братья Якшичи» (в оригинале — «Дюоба Якшића»), «Смерть любовников» («Опет смрт драге и драгога») и «Свадебный поезд» («Најмилије виђење») [1, с. 331—337]. Две последние песни были напечатаны в том же 1824 г. в первой книге лейпцигского издания «Народных сербских песен» Вука, в то время как первая была опубликована годом ранее в третьей книге того же издания. Можно полагать, что именно эти переложения были сделаны Востоковым прежде других (вероятно, в первой половине 1824 г.), что подтверждается большим влиянием на них ритма оригинала: трехтактная ритмическая инерция в них значительно нарушена большим числом стихов с четырьмя ударениями. Песня «Братья Якшичи» могла появиться раньше других (как ранее других был опубликован и ее оригинал). Эту песню характеризует ритмическая неупорядоченность, дословный перенос отдельных поэтических образов, некоторая неловкость переводческих приемов. На то, что эти песни явились первой публикацией переводов Востокова, указывает и предпосланная им заметка переводчика, где сообщаются сведения об оригиналах и поэтические принципы перевода:

«В сербском подлиннике размер хорейский пятистопный с пресечением на второй стопе: — U — U | — U — U — U. Чтобы сохранить силу подлинника, переводчик не счел за нужное рабски подражать сему размеру, неупотребительному у нас, и для русского слуха, может быть, несколько утомительному. Он предпочел русский размер о трех ударениях с хорейским окончанием» [1, с. 337]. К такому определению метрики сербского десятисложника (десетераца) Востоков пришел под влиянием пояснений Вука в предисловии к первой книге «Народных сербских песен» 1824 г.: «Все наши героические песни состоят из десяти слогов или пяти трохейских стоп с паузой после второй... Правда, во многих стихах при произношении и долгий слог выступает вместо краткого и краткий вместо долгого... Так произносятся, а также читают и сказывают; но когда поют, тогда

здесь только трохеи» [2]. Приведенное выше определение Востокова нельзя понять, не прибегнув к объяснениям Вука: в известном смысле оно — неразвернутая цитата из Вука. Поэтику русского народного стиха с тремя метрическими ударениями и трохеической клаузулой Востоков изложил семью годами раньше в сочинении «Опыт о русском стихосложении», относящемся к переложению сербских народных песен как теория к практике перевода. Здесь предлагается иное определение сербского десяти-сложника: «Народные песни у сербов сочиняются без рифмы, и, кажется, имеют стихосложение тоническое, подобное старинному русскому» [3, с. 69, сноска].

2. Песня «Марко кралевич в темнице» (в оригинале — «Марко Краљевић у Азачкој тавници») опубликована в 1825 г. в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности» с примечанием — «Из сербских стихотворений» [4]. Это единственная песня, опубликованная Востоковым не в альманахе Дельвига, а в сборнике Общества, активным членом которого он состоял. Причина, как нам представляется, заключается в том, что данный перевод — творческий эксперимент поэта, попытавшегося передать на русском языке одну из констант сербского метра — десятисложную силлабическую структуру.

3. Песня «Строение Скадра» («Зидање Скадра») опубликована в 1826 г. в альманахе «Северные цветы» с примечанием — «Из сербских народных песен» [5]. Эта песня более строго построена в ритме трехтактного тонического стиха, как и «Марко кралевич в темнице», но десятисложник проступает в ней лишь как ритмическая тенденция.

4. И, наконец, в 1827 г. в альманахе «Северные цветы» под общим заголовком «Сербские песни» опубликованы четыре переложения: «Яня мизиница» («Јања Мъезиница»), «Сестра девяти братьев» («Браћа и сестра»), «Девушка и солнце» («Ђевојка и сунце») и «Жалобная песня благородной Асан-Агиницы» («Жалосна пјесна племените Асанагинице») [6, с. 269—281]. Все песни взяты из лейпцигского издания «Народных сербских песен», кроме последней, которую Востоков перевел по тексту сборника Вука «Мала прстонародња славеносрпска пјеснарица» (1814). Первые три песни воспроизведены трехтактным тоническим стихом (в песне «Сестра девяти братьев», правда, несколько раз появляются неметрические ударения) с трохеической клаузулой, и их не сопровождают какие-либо примечания переводчика (ибо к ним относится то, что переводчик высказал при первой своей публикации песен). Однако публикуя «Хасанагиницу», Востоков в одной фразе излагает свой основной принцип перевода, которым он пользовался при ее воссоздании: «Мы употребили здесь русский сказочный размер с дактилическим окончанием» [6, с. 277]. Таким образом, перевод «Хасанагиницы» это тоже своего рода ритмико-стилистический эксперимент: в нем воспроизведен эпический, а не лирический стих народной песни (хоть он и трехтактный); представлена дактилическая, а не трохеическая клаузула.

Переводы Востокова демонстрируют любопытную поэтическую попытку реконструировать плаславянский эпический стих в русском языковом одеянии. На этот аспект переводов Востокова и Пушкина указал Вяч. Вс. Иванов: «...здесь в поэтической практике было осуществлено то сопоставление сербского и русского народного стиха, на котором основаны наиболее достоверные выводы славянской сравнительной метрики» [7, р. 284]. И там же: «Можно было бы сказать, что поэты, перелагающие стихи с одного языка на другой, сравнивают две метрические системы друг с другом. Если системы родственны, то результат их сравнения может оказаться близок к реконструкции первоисточника» [7, р. 984, сноска]. Ссылаясь на наблюдения Ф. Корша («Но что, если чутье гениального художника предупредило изыскания ученых» [8]), Вяч. Вс. Иванов, анализируя стих «Песен Западных славян», приходит к выводу, что Пушкин сохранил в измененной форме две из трех основных характеристик праславянского десятисложника в соответствии с реконструкцией Р. Якобсона [7, р. 987]. Заслуга переводческой реконструкции отличительных черт праславянского эпического стиха в целом принадлежит А. Востоков-

ву, переложения которого послужили метрическим образцом для А. С. Пушкина. В своих переложениях А. Х. Востоков особым образом выразил метрические константы праславянского эпического стиха.

I. Десятисложная силлабическая структура — метрическая основа сербского десятисложника и реконструируемого праславянского эпического стиха [9, с. 320, 350; 10, с. 15]. Эта метрическая константа оригинала различно осуществляется в переложениях Востокова.

а) «Жалобная песня благородной Асан-Агиницы» — единственная песня, в которой данная силлабическая структура даже не подразумевается. Больше всего в ней одиннадцатисложных стихов, средняя длина стиха (10,86 слога) указывает на одиннадцатислоговую тенденцию. Подобная силлабическая структура — следствие введения в этой песне дактилической клаузулы. Это значит, что использованием дактилического окончания в стиле русских былин силлабическая структура расширена на один слог;

б) в песнях «Смерть любовников» и «Свадебный поезд» силлабическая константа источника выражена специфическим образом. В первой песне доминирует десятисложник (более половины стихов состоит из десяти слогов), но средняя длина довольно высокая (10,77). Во второй песне имеется комбинация девяти- и десятисложника, при наличии лишь одного одиннадцатисложного стиха. Средняя длина стиха довольно низкая (9,56 слогов). В данной песне представлена комбинация стихов двух слоговых структур в стиле русских лирических песен;

в) третью группу составляют песни «Братья Якшичи», «Строение Скадра», «Яня мизиница», «Сестра девяти братьев» и «Девница и солнце». В каждой из них наиболее часто встречается десятисложный стих, но его присутствие нигде не достигает половины от общего числа стихов (в среднем 41,6%). В песнях встречаются стихи от 8 до 12 (в последней до 11) слогов. Десятисложность как ритмическая тенденция мощно поддержана средней длиной стиха (по всем пяти песням она составляет 9,99 слогов);

г) в песне «Марко кравевич в темнице» точнее всего сохранена силлабическая структура оригинала. Первая половина песни осуществлена в чистом десятисложнике, во всей песне 94% десятисложных стихов, средняя длина стиха 10,007 слогов. Можно предположить, что в данном переложении-эксперименте изосиллабизм был принят как главный метрический принцип перевода, хотя и не осуществлен до конца: из 151 стиха вне данной метрической схемы осталось девять стихов.

II. Регулярная внутренняя цезура после четвертого слога является второй основной метрической константой сербского эпического десятисложника и праславянского эпического стиха, как его реконструирует Р. Якобсон. Якобсон считает, что славянский эпический стих состоял из двух колонов, разделенных обязательной цезурой, но обычно содержал три смысловых единицы. В столкновении этих двух принципов — дихотомии и трихотомии — «русский эпический стих отстранил цезуру, которая делит стих на два колона, и положил в свое основание три очень сильных времени» [9, с. 342].

В двух переводах Востокова проявилась тенденция помещения цезуры после четвертого слога. В песне «Марко кравевич в темнице», перевод которой в смысле силлабики всего ближе сербскому десятисложнику, цезура после четвертого слога осуществляется более чем в 40% стихов, причем завершающий слог полустиха чаще всего безударный. Цезура отделяет первый просодический период от двух последних, т. е. первый колон имеет четыре слога и один икт, а второй — шесть слогов и два икта, совсем так, как это представляет себе Якобсон в праславянском эпическом десятисложнике:

Во темнице | вода по колéно
А по пояс | кóсти человекчи
Туда-хóдят | змéя, скорпиóны.
Я-сбьэдил бы | до Прили́па града.
Привéз-бы-я | вы́купу нема́ло,

илл

Мы присоединяемся к тем исследователям, которые не считают сербский десятисложник силлаботоническим хореем. Статистическая иллюзия хорейского распределения ударений является, как это подчеркивают сторонники силлабического объяснения, не только результатом естественного ритма словаря новоштокавских говоров, который — решительно трохейский, и не только следствием метрических констант сербского десятисложника (десятисложная силлабическая структура, обязательная цезура, неударяемые концовки обоих полустихов). Хорейская тенденция в распределении окончаний в народном эпическом десятисложнике — следствие ослабления квантитативной клаузулы, ее исторического развития от метрической константы до ритмической доминанты или тенденции и вплоть до полной ее утраты. Якобсон отметил некую закономерность у сербохорватоязычных поэтов, начиная от XVII в.: «Если десятисложник имеет рифму, он обычно утрачивает квантитативную клаузулу» [11, с. 153]. Другими словами — ритмическую функцию квантитативной клаузулы берет на себя, с одной стороны, рифма. С. Петрович отметил и другую любопытную тенденцию: квантитативная клаузула чаще всего нарушается в тех песнях, где резче выражено хорейское распределение ударений, а лучше всего сохраняется в тех песнях, в которых больше отступлений от этого хорейского распределения [13, с. 134—195]. А это значит, что функцию квантитативной клаузулы берет на себя, с другой стороны, и хорейская ритмическая тенденция. Во всяком случае нет основания считать, что праславянский эпический стих являлся пятистопным хореем, в то время как квантитативная клаузула с полным основанием может рассматриваться праславянской метрической константой.

Иследуя структуру стиха сербских народных песен, Якобсон пришел к выводу, что «первый полустих десятисложника в большинстве случаев содержит одну, а второй — две лексические единицы; весь стих, следовательно, состоит из трех лексических комплексов» [11, с. 152]. В работе о славянском эпическом стихе Якобсон уже говорит о трех ударениях: «Большинство стихов содержит три фразовых ударения: одно в первом и два во втором колоне» [9, с. 322]. Эту особенность сербского десятисложника он проецирует на праславянский эпический стих и подчеркивает, что русский эпический стих утратил цезуру «и положил в основу три очень сильных времени» [9, с. 342].

На основании всего сказанного мы можем заключить, что Востоков — филолог и поэт, — сравнивая две метрические системы, русскую и сербскую, в своих переводах реконструировал тоническую константу праславянского метра — три обязательных метрических ударения в каждом стихе. И не поддался даже авторитету Вука Караджича, т. е. отказался от перевода сербских песен пятистопным хореем с женской клаузулой, как того хотел и К. Тарановский. В этом отношении Востоков своими переводами-экспериментами предложил своеобразную поэтику перевода, которую с полным основанием можно назвать «перевод как реконструкция».

V. Среди метрических констант сербохорватского эпического десятисложника Якобсон называет и обязательную синтаксическую паузу между стихами [9, с. 320]. В последнее время ритм и интонацию сербского десятисложника изучал и Н. Петрович. Для нашего анализа особое значение имеют его выводы о том, что «на задней границе первого полустаха должна существовать меньшая или большая языковая пауза . . . , но она не может быть полной (каденцией, т. е. концом предложения)» и что «интонационные части в полустахах не должны иметь особую связь влестиховую (между стихами) более сильной, чем внутристиховую» [14].

В своих переводах Востоков не всегда учитывал ритмико-интонационные особенности сербского десятисложника и русского тонического стиха. Он стремился быть как можно ближе к оригиналу и в отношении лексико-семантических компонентов стиха, но иногда избранная им силлабическая структура переводного стиха оказывалась шире, чем содержание, предлагаемое оригиналом в семантическом плане, и тогда он некоторые стихи стягивал. Он прибегал, вопреки сформулированной поэтике рус-

Мы присоединяемся к тем исследователям, которые не считают сербский десятисложник силлаботоническим хореем. Статистическая иллюзия хорейского распределения ударений является, как это подчеркивают сторонники силлабического объяснения, не только результатом естественного ритма словаря новоштокавских говоров, который — решительно трохейский, и не только следствием метрических констант сербского десятисложника (десятисложная силлабическая структура, обязательная цезура, неударяемые концовки обоих полустихов). Хорейская тенденция в распределении окончаний в народном эпическом десятисложнике — следствие ослабления квантитативной клаузулы, ее исторического развития от метрической константы до ритмической доминанты или тенденции и вплоть до полной ее утраты. Якобсон отметил некую закономерность у сербохорватоязычных поэтов, начиная от XVII в.: «Если десятисложник имеет рифму, он обычно утрачивает квантитативную клаузулу» [11, s. 153]. Другими словами — ритмическую функцию квантитативной клаузулы берет на себя, с одной стороны, рифма. С. Петрович отметил и другую любопытную тенденцию: квантитативная клаузула чаще всего нарушается в тех песнях, где резче выражено хорейское распределение ударений, а лучше всего сохраняется в тех песнях, в которых больше отступлений от этого хорейского распределения [13, с. 134—195]. А это значит, что функцию квантитативной клаузулы берет на себя, с другой стороны, и хорейская ритмическая тенденция. Во всяком случае нет основания считать, что праславянский эпический стих являлся пятистопным хореем, в то время как квантитативная клаузула с полным основанием может рассматриваться праславянской метрической константой.

Исследуя структуру стиха сербских народных песен, Якобсон пришел к выводу, что «первый полустих десятисложника в большинстве случаев содержит одну, а второй — две лексические единицы; весь стих, следовательно, состоит из трех лексических комплексов» [11, s. 152]. В работе о славянском эпическом стихе Якобсон уже говорит о трех ударениях: «Большинство стихов содержит три фразовых ударения: одно в первом и два во втором колоне» [9, s. 322]. Эту особенность сербского десятисложника он проецирует на праславянский эпический стих и подчеркивает, что русский эпический стих утратил цезуру «и положил в основу три очень сильных времени» [9, s. 342].

На основании всего сказанного мы можем заключить, что Востоков — филолог и поэт, — сравнивая две метрические системы, русскую и сербскую, в своих переводах реконструировал тоническую константу праславянского метра — три обязательных метрических ударения в каждом стихе. И не поддавался даже авторитету Вука Караджича, т. е. отказался от перевода сербских песен пятистопным хореем с женской клаузулой, как того хотел и К. Тарановский. В этом отношении Востоков своими переводами-экспериментами предложил своеобразную поэтику перевода, которую с полным основанием можно назвать «перевод как реконструкция».

V. Среди метрических констант сербохорватского эпического десятисложника Якобсон называет и обязательную синтаксическую паузу между стихами [9, с. 320]. В последнее время ритм и интонацию сербского десятисложника изучал и Н. Петкович. Для нашего анализа особое значение имеют его выводы о том, что «на задней границе первого полустаха должна существовать меньшая или большая языковая пауза . . ., но она не может быть полной (каденцией, т. е. концом предложения)» и что «интонационные части в полустахах не должны иметь особую связь внестиховую (между стихами) более сильной, чем внутрестиховую» [14].

В своих переводах Востоков не всегда учитывал ритмико-интонационные особенности сербского десятисложника и русского тонического стиха. Он стремился быть как можно ближе к оригиналу и в отношении лексико-семантических компонентов стиха, но иногда избранная им силлабическая структура переводного стиха оказывалась шире, чем содержание, предлагаемое оригиналом в семантическом плане, и тогда он некоторые стихи стягивал. Он прибегал, вопреки сформулированной поэтике рус-

ского фольклорного стиха и вопреки оригиналу, к переносу (enjambement), который нарушал ритмико-интонационную структуру стиха. Характерен пример из песни «Сестра девяти братьев»:

Скоро едет мертвец, и в виду уж
Сестрин двор. Издали увидала
Сестра, выбегала навстречу.

(В оригинале: Итро иде нејачик Јоване; / Кад је био двору на помолу, / Далеко га сеја угледала, / Мало ближе пред њег' ишетала).

При стягивании двух стихов в один, или трех в два в некоторых случаях междустиховые связи становились сильнее, чем внутристиховые:

«Подожди здесь», — брат сестре молвил,
«Я схожу только за белую церковь...»

(«Сестра девяти братьев»).

Отпишу я к матери, к родимой
Во Прилип-град: пришлет она выкуп.

(«Марко кралевич в темнице»).

Переносы, несомненно, являются самым большим отступлением практической поэтики Востокова от теоретически сформулированной им поэтики трехтактного тонического стиха. Нарушения же ритмико-интонационных особенностей представляют собой крупнейшее искажение русским поэтом-переводчиком метрики и ритмики сербского десятисложника.

Переложения Востокова представляют собой не только своеобразную поэтическую реконструкцию славянской метрической системы, основанную на сравнении сербского и русского народного стиха. Они точно так же — и любопытная попытка реконструкции поэтических образов и семантического содержания, общих для русского и сербского фольклора. Уже в названии песни «Марко кралевич в темнице» присутствует лексико-семантическая реконструкция. В оригинале «Краљевић» при имени нашего эпического героя пишется с большой буквы и воспринимается — в результате вторичного переосмысления ономастического материала — как фамилия, т. е. антропоним. Востоков форму «кралевич» пишет с маленькой буквы и, таким образом, открывает первичное словообразовательно-семантическое значение апеллатива — «сын короля». В соответствии сербскохорватскому слову «Мљезиница» Востоков создал «мизиница», опираясь на русский «мизинец» — младший сын — и тем самым стремился и в лексическом плане реконструировать то, что является общим или что могло бы быть общим для русского и сербского фольклора.

В песне «Девнца и солнце» для словосочетания оригинала (*x*)уда срећа:

A ja ћу јој уду срећу дати,
Уду срећу, све ситне девере,
Злу свекрву, а свекра горага,

Востоков нашел этимологический эквивалент — *худая встреча*:

Мы пошлем ей встречу худую:
Пошлем деверей все малолетних,
Злу свекровь, а свекра еще злее.

В этом примере обнаруживается стремление Востокова найти в русском фольклоре поэтические средства, связывающие сербскую и русскую фольклорную традицию, реконструировать то, что является для них общим. Слова «срећа» и «встреча», хотя этимологически близкие, в синхронном и поверхностном плане семантически не тождественны. Между тем русский поэт передал более глубинный смысл подлинника, ибо по русским верованиям, словосочетание *худая встреча* может относиться к лицу, приносящему несчастье. Сербохорватское слово *срећа* утратило свою былую семантическую мотивацию, которую русское *встреча* сохранило; поэтому

Востоков, употребив русское слово, реконструировал первичное значение сербскохорватского фольклорного словосочетания. В той же песне обращает на себя внимание желание поэта освободить фольклорный текст от более новых, христианских наслоений и сообщить ему более старый, первобытный, языческий облик. Это он достигает изъятием «Бога» как третьего лирического героя:

Јарко сунце Богу тужбу дало:
«Што ћу, Боже, с проклетом девојком?»
А Бог сунцу тијо одговари...

В переводе солнце жалуется «на небе», а «небожители» ему отвечают:

Пожаловалось на небе солнце:
Что мне делать с проклятой девицей?
Небожители солнце утешали...

Методом реконструкции первичных семантических значений Востоков воспользовался и в песне «Строение Скадра»: существительное *ручак* он последовательно переводит как «завтрак», а наречие *сјутра* — наречием «утром» или наречным выражением «завтра утром». Например:

Не ходи завтра утром на Бояну
Выносить работникам завтрак.

В оригинале:

Немој сјутра на Бојану доћи
Ни донијет' мајсторима ручак.

Эти изменения художественно оправданы: существительное *ручак* помимо значения «обед» имело и значение «завтрак», а в наречии *сјутра* содержится семантическое ядро «с утра». Русский поэт — переводчик вскрыл это спрятанное семантическое ядро, перевел его (*завтра*) *утром* и в это утро поместил существительное *ручак* (-завтрак).

Любопытны изменения, внесенные в концовку песни «Сестра девяти братьев». В сербской песне кукушка, олицетворяющая «остарилу мајку», кукует в доме («у двору»), дочь Елица подходит к двери («врата»), старая мать говорит из дома («из двора бесједи»), и дочери открыла дверь («отворила врата»). В переводе поэтическая картина изменена: со входа в дом сцена перенесена на вход во двор:

Во дворе кукушечка кукует;
Не кукушечка то куковала,
Ее старая мать горевала.
Стучится дочь в ворота, громко кличет: ...
Мать-старушка с двора отвечает:
Тогда мать ворота отворила
Закуковали, что кукушечки, обе.

Изменения могли быть мотивированы, с одной стороны, тем, что поэту показалось естественнее, чтобы кукушка куковала во дворе, поскольку в русском языке *кукушка* не ассоциируется с причитающей, огорченной женщиной, а, с другой стороны, тем, что Востоков и здесь хотел в переводе реконструировать корни, которые связывают русскую и сербскую культуру, с помощью общих лексических средств, не принимая во внимание их позднейшие семантические расхождения.

Если учесть и тот факт, что названия сербских народных песен не аутентичны (песни в естественном виде названий не имели), и что Вук дал некоторым песням названия, поэтически им не соответствующие, то будут ясны те изменения, которые внес в них Востоков. Заголовок «Диоба Якшића», в котором отражен один эпизод из жизни сербских эпических ге-

роев, переведен просто «Братья Якшичи», что имеет универсальное значение. Измененным названием «Братья и сестра» русский поэт хотел поместить образ сестры в центр поэтической картины, в то время как атрибутивное употребление синтагмы «девять братьев» обрамляет трагизм ее судьбы: «Сестра девяти братьев» — обозначает сестру, у которой было девять братьев, которых она потеряла. Самое большое изменение претерпел заголовок песни «Најмилије виђење». Неадекватность названия содержанию почувствовал и Вук, так что в венском издании (1841) переименовал песню — «Кад се надају сватовима код дјевојачке куће». Востоков нашел заголовок в русском фольклоре: «Свадебный поезд» (словосочетание обозначает свадебную вереницу повозок с участниками свадебного обряда). Так песня получила печать русской народной традиции: у сербов сваты обычно едут на конях верхом.

Переложения Востокова любопытны и как опыт реконструкции композиции народных песен. В своем анализе русских народных песен Востоков отмечает позднейшие вставки или пропуски целых стихов, которые нарушают строфическую структуру лирической песни [3, с. 130, 133, 155]. Стремление к сохранению четности стихов в соответствии с поэтикой русской лирической народной песни проявляется в изменениях, которые поэт-переводчик произвел в песне «Смерть любовников»: в двустипхию вмещено смысловое содержание трех стихов и развит в смысловом отношении отдельный стих:

Отец и мать им знаться запретили,
 Девушку с юношей разлучили.
 Добрый молодец звезде поручает
 Сказать от него душе-девице:
 Умри, драгая, поздно в субботу,
 А я за тобою рано в воскресенье.

(Ср. оригинал: Сазнаде и и отац и мајка / Мајка не да да се драги љубе, / Већ растави и мило и драго. / Драги драгој по зв'језди поручи: / «Умри, драга, доцкан у суботу, / Ја ћу јунак рано у недјељу».

В переложении «Хасанагиницы» есть одно место, где русский поэт своим переводом реконструировал «пропущенный стих» и таким образом дорисовал поэтическую картину:

Когда прочла жена грамоту,
 С детьми она распрощалась.
 Целует в чело сыновей двоих
 Дочерей в ланиты румяные.

(Ср. в оригинале: Кад кадуна књигу проучила / Два је сина у чело љубила / А две кћери у румена лица).

На основании всего сказанного, как и на основании проведенного нами анализа переводов [15], можно прийти к выводу, что Востоков своими переводческими экспериментами осуществил оригинальную модель перевода, которую можно было бы рассматривать как синтез поэтического и филологического перевода. Эта модель основана на сравнении двух родственных метрических систем и двух родственных систем поэтических образов, а ее результат можно рассматривать как поэтическую реконструкцию стиха и поэтики славянской эпической поэзии.

Большой заслугой Востокова является и то, что он решительным образом повлиял на метрику тех из «Песен Западных славян», которые написаны трехтактным тоническим стихом, и на поэтику пушкинских переводов сербских народных песен. А Пушкиным переведено четыре песни из сербского фольклора: «Соловей» («Три највеће туге»), «Сестра и братья» («Бог ником дужан не остаје»), «Что белеет на горе зеленой» (отрывок из «Хасанагиницы») и «Не видала ль, девица, коня моего» («Коњ се срди на господара»).

Сравнение переложений сербской народной поэзии, сделанных Востоковым и Пушкиным, и поэтики, которой придерживались переводчики,

может быть предметом отдельного исследования. Но и на основании анализа переводов Востокова и данных, которые приводятся в богатой литературе о переводах Пушкина и его подражаниях, можно с уверенностью утверждать, что выдающийся русский филолог А. Востоков, как стиховед и поэт-переводчик, существенно повлиял на метрическую и поэтическую структуру «Песен Западных славян». Со своим тонким ощущением ритма и системы поэтических образов Пушкин воспринял от своего предшественника и художественно усовершенствовал то, что ему представлялось наиболее поэтичным: 1) он принял сформулированную и примененную в переводе поэтику трехударного тонического стиха с хорейской клаузулой, и таким стихом стал переводить «Хасанагиницу», которую Востоков перевел русским стихом с дактилическим окончанием; 2) ритмической доминантой он взял анапестический зачин, т. е. двусложную анакрузу, опираясь прежде всего на песню Востокова «Яня мизиница»; 3) определил для себя десятисложник как ритмическую доминанту, опять-таки взяв за образец перевод Востоковым песни «Смерть любовников» (точнее, взяв среднее решение между песней «Марко кралевич в темнице» и остальных переводов Востокова); 4) ярко выраженное стремление к изосиллабизму типа десятисложника обусловило тенденцию варьирования хорейского и анапестического ритма с ритмом трехударного дольника; 5) он заимствовал и некоторые лексические решения у своего предшественника (например, поэтическое слово *люба*).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Востоков А.* Сербские песни. — Северные цветы на 1825 год, собранные бароном Дельвигом. СПб., 1824.
2. *С[тефановић] К[араџић] В[ук]*. Предговор. — Народне срpske пјесме, скупио и и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. Књига прва, у којој су различне женске пјесме. У Липисци, 1824, с. LIII.
3. *Востоков А.* Опыт о русском стихосложении. Изд. 2-е. значительно пополненное и исправленное. СПб., 1817.
4. *Востоков [А].* Марко кралевич в темнице. — Труды Вольного общества любителей российской словесности. 1825 год. Ч. XXX. СПб., 1825, с. 169—176.
5. *Востоков А.* Строение Склада. — Северные цветы на 1826 год, собранные бароном Дельвигом. СПб., 1826, с. 43—52.
6. *Востоков А.* Сербские песни. — Северные цветы на 1827 год. Изданы бароном Дельвигом. СПб., 1827.
7. *Иванов Вяч. Вс.* Заметки по сравнительно-исторической индоевропейской поэтике. 3. Стих «Песни Западных славян» и славянская сравнительная метрика. — То honor Roman Jakobson. II. The Hague — Paris, 1967.
8. *Корш Ф. Е.* О русском народном стихосложении. I. Былины. Вып. 1. СПб., 1897, с. 34 (сноска).
9. *Jakobson R.* Slovenski epski stih. Prev. A. I. Spasić. — Treći program. [Beograd], 1981, br. III (50).
10. *Тарановски К.* Принципи срpsкохрватске версификације. — Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Београд, 1954, XX св. 1—2.
11. *Jakobson R.* O strukturi stiha srpskohrvatskih narodnih epova. Prev. T. Bekić. — In: Lingvistika, poetika. Beograd, 1966.
12. *Тарановский К.* О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики. — In: American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. The Hague, 1963.
13. *Петровић С.* Облик и смисао: Стиси о стиху. Нови Сад, 1986.
14. *Петковић Н.* Прилог проучавању ритма и интонације у развоју срpsког стиха од романтизма до симболизма. — В кн.: Срpsки симболизам: Типолошка проучавања. Београд, 1985, с. 407.
15. *Маројевић Р.* «Сербскія пьсни» Александра Востокова. Горњи Миланец. 1987. с. 7—55, 139—198.



ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗВОДОВ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО В ДРЕВНЕЙШУЮ ЭПОХУ (формы номинатива действительных причастий на *-* onts*)

0. Одной из древнейших морфологических изоглосс, разделявших южную и северную диалектные зоны позднего праславянского языка, традиционно считается противопоставление флексий *-y* и *-a* в именительном падеже единственного числа мужского и среднего рода действительных причастий настоящего времени от глаголов с основой на твердый согласный. Это противопоставление засвидетельствовано уже древнейшими памятниками славянских языков: при том, что в древнеболгарских рукописях XI в. безусловно господствующими являются формы типа *несь*, *идь*, в древнерусских рукописях того же времени встречаются наряду с ними также формы типа *неса*, *ида* [1; 2, с. 111; 3, с. 94].

Вопрос о происхождении данной изоглоссы, один из наиболее спорных в славянской исторической морфологии, в настоящей статье не рассматривается¹. Соответствующие причастные формы будут интересовать нас преимущественно в аспекте истории русского литературного языка, т. е. — применительно к древнейшему периоду — в аспекте истории грамматической нормы церковнославянского языка русского извода. В связи с этим предстоит рассмотреть два вопроса. Первый из них состоит в том, как следует трактовать встречающиеся в древнерусских рукописях формы причастий на *-a* — как случайное, непреднамеренное отражение живого произношения, идущее вразрез с грамматической нормой книжного языка, или же как элемент этой нормы, ассимилированный ею морфологический восточнославянизм. Второй вопрос, предельно четко сформулированный Н. Н. Дурново, касается соотношения между формами на *-a* древнерусских памятников и формами на *-a* древнеболгарских. «Незначительное количество примеров причастий на *-a* не позволяет решить, следует ли видеть в них русизмы, независимые от того, что было написано в южнославянских текстах, или русскую передачу, согласную с русским живым произношением, южнославянских причастий на *-a*» [3, с. 94].

Гиппиус Алексей Алексеевич — преподаватель кафедры русского языка филологического факультета МГУ.

¹ Для последующего изложения существенно наличие двух противоположных гипотез. Исследователи, рассматривающие флексию *-y* как единственно возможный рефлекс единственной праславянской флексии *-*onts* [4—7, р. 179—183] видят в древнерусских формах *неса*, *ида* результат аналогического влияния со стороны основ на мягкий согласный и рассматривают эти формы как генетически тождественные древнеболгарским формам на так называемый *q*, передающийся при помощи модифицированного знака для *ε* (в настоящей публикации для передачи *q* и *ε* по техническим причинам использованы соответственно *д* и *л*), а иногда в виде *ж* или *ж*. Согласно другой точке зрения (разделяемой и автором настоящей статьи), флексия *-a* является исконной для всей северной диалектной зоны, а не сменившей здесь древнее *-y* [8—12].

1.1 Причастия типа *неса* обычно не включаются в краткий перечень генетически восточнославянских элементов, составляющих специфику нормы русского извода церковнославянского. Так, по мнению И. Тота, «формы на *-ы* составляли норму церковно-книжного языка, и поэтому древнерусские формы не могли попасть в систему норм древнерусского церковно-книжного произношения и в церковно-книжную практику» [13] (ср. аналогичную точку зрения в [14, с. 142]).

Такая оценка статуса причастий на *-а* отчасти является следствием излишне консервативной трактовки нормы русского извода церковнославянского, не учитывающей ее принципиальной вариативности (см. об этом подробнее в [15]). В данном случае, однако, не менее важную роль играет другое обстоятельство, а именно — неразграничение полных и кратких форм причастий. Между тем такое разграничение совершенно необходимо: если краткие формы старославянских причастий на *-ы* имели себе соответствие в живой древнерусской речи XI—XII вв. в виде древнерусских форм на *-а*, по-видимому, уже превратившихся к этому времени в застывшие деепричастные образования [16], то полные формы как таковые были, очевидно, с самого начала письменной эпохи лишь принадлежностью книжного языка [17, с. 364], и потому единственно возможной для них была южнославянская флексия. (Некоторые исключения из этого правила специально рассматриваются ниже.) Вопрос об окказиональности или же, наоборот, нормативности восточнославянских форм на *-а* имеет смысл поэтому только применительно к кратким формам. Введение этого ограничения позволяет по-новому взглянуть на уже известные факты.

Из памятников XI в. наибольшее количество форм на *-а* содержат Минея 1095—1097 гг. По нашим подсчетам общее число таких форм в трех изданиях И. В. Ягичем рукописях — 17: Минея 1095 г.: *паса* 11об., *жива* 12об., *зова* 93об., 130об.; Минея 1096 г.: *зова* 13, 39, 60об. (2х) *мога* 39об., 50; Минея 1097 г.: *зова* 82об., 100, 100об. (2х), 114об., *жива* 113об., 163. При этом краткие формы на *-ы* от тех же основ не встречаются вообще (единичный пример *живы* в Минее 1095 г., л. 35 вполне может представлять результат стяжения *-ыи* в *-ы*, обычного в данной рукописи)². Такое положение явно не позволяет рассматривать краткие формы на *-а* как случайно «проскользнувшие» в книжный текст [18]. Они не просто выступают как нормативные, но и являются в данном случае единственными представителями книжной нормы.

За пределом указанного круга памятников нормативное употребление форм на *-а* отмечаем, например, в Выголексинском сборнике XII в., где от глаголов *жити*, *ити*, *мощи*, *пеци* находим семь кратких форм на *-а* (*жива* 41об., 158, *ида* 116, *мога* 120об., 135об., 164, *пека* сл 118об.) и одну на *-ы* (*иды* 126об.). Из памятников XIII в. можно назвать хотя бы Сборник толкований на ветхо- и новозаветные тексты (ГПБ, Q. п. I.18), в котором краткие формы также выступают почти исключительно с древнерусской флексией (*ида* 20об., *зова* 180об., *тека* 48об., *жива* 54, *река* 22(2х), 25, 27об. 31(2х) и другие при единичном *могы* 154). Примеры такого рода легко умножить.

Способность к нормативному употреблению в книжных текстах была унаследована от причастий на *-а* сменившими их в живой речи формами, образованными по аналогии с основами на мягкий согласный. В текстах XII—XIV вв. формы типа *жива* выступают наряду с формами типа *жива*. Уже в Стихираре XII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 147) при отсутствии кратких форм на *-ы* и на *-а*, дважды находим: *ида* 54, *жимоидла* 128об. В ноябрьской

² Показательно, что в то же время краткие формы на *-ы* употребляются от нетематических основ: *сы* — многократно, *прзвды* Минея 1095 г., 12об.; *имы* 110об.; *вбды* Минея 1096 г., 130об. и т. д. Однако наряду с ними встречаются часто и формы от тематических основ *вбана* и *имба*, которые, по-видимому, в живой речи уже вытеснили к этому времени нетематические образования. Таким образом, краткие формы на *-ы* от данных глаголов не участвуют в оппозиции форм на *-ы/-и*, но входят в другую оппозицию. (Противопоставленность по данному признаку тематических и нетематических основ на материале более поздних памятников отмечают также И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко [17, с. 311].)

Минее XIII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 93) в соответствии с формами на *-а* Минее 1097 г. (см. выше) читаются как формы на *-а*, так и формы на *-а*: *зова* 87(2х), *зова* 72об., 86об. *жива* 99об.³

1.2. При решении вопроса о статусе генетически русских причастных форм на *-а(-а)* нельзя обойти стороной синтаксический аспект проблемы. В древнейших памятниках русского извода формы на *-а* выступают в основном в функции второстепенного сказуемого, свойственной им и в живой древнерусской речи. Однако, начиная также с древнейшей эпохи, получает широкое распространение употребление в той же синтаксической позиции полных форм на *-ыи*, составляющее специфическую особенность древнерусского книжного синтаксиса. Показательно в этом отношении сопоставление Остромирова (ОЕ) и Мстиславова (МЕ) евангелий, отчетливо обнаруживающее вымывание кратких причастий на *-ы* в функции второстепенного сказуемого полными причастиями на *-ыи*:

Л.Х.33. ОЕ: *самарѣнинъ же нѣкыи градъ приде надъ нь* 103б; МЕ: *градъи* 89в.

Л.ХV.13. ОЕ: *расточи имѣникъ своѣ живы блѣдно* 118а; МЕ: *живыи* 111г.

Л.ХV.25. ОЕ: *и како градъ приближисѣ къ домоу* 119а; МЕ: *градъи* 112б.

Ио.ХІХ.39. ОЕ: *приде же и никодимъ пришѣдѣти къ иісови ноцишъ прѣжде несы съмѣшеніе змур'но и алоино* 195а; МЕ: *несыи* 156б.

В результате полные формы на *-ыи* в древнерусском книжном языке оказываются полифункциональными, выступая, в отличие от полных форм номинатива других причастий, не только в роли подлежащего или определения, но также и в роли второстепенного сказуемого. Не будучи никак мотивировано грамматически, такое употребление, по-видимому, было обусловлено особой фонетической близостью краткой и полной южнославянских форм (ср. соотношение *несы* : *несыи* и *носа* : *носыи*), а также наличием в южнославянских протографах значительного числа стяженных написаний типа *градъи* вместо *градъи*. Фонетическая близость форм на *-ы* и *-ыи*, в равной степени чуждых живой восточнославянской речи, способствовала их функциональному объединению в сознании древнерусских книжников. При этом, поскольку при переписывании южнославянских протографов нередко приходилось исправлять стяженные написания, восстанавливая их в нестяженном виде, полные формы на *-ыи* могли восприниматься как «более правильные», следствием чего, очевидно, и было расширение сферы их функционирования.

Употребляясь в функции второстепенного сказуемого, полные формы на *-ыи* вступают в коррелятивные отношения непосредственно с краткими формами на *-а*, по-видимому, воспринимаясь восточнославянскими книжниками как специфически книжные формы деепричастий. Формы типа *несыи* и *неса* выступают в древнерусских книжных текстах как варианты, встречаясь в одних и тех же контекстах. Ср., например, *никого же поутемъ идыи не вѣрди* (Хроника Георгия Амартола, ГБЛ, Фунд., № 100, л. 209б) и *никого же поутемъ идѣ не вреди* (Пролог XIII в., ЦГАДА, ф. 381, № 156, л. 136об.).

Количественное соотношение форм на *-ыи* и на *-а(-а)* в функции второстепенного сказуемого находится в очевидной зависимости от типа книжного текста. В канонической церковнославянской книжности, восходящей к южнославянским оригиналам, экспансия форм на *-ыи* может приводить к полному вытеснению кратких форм как таковых, что мы и наблюдаем, например, в уже упоминавшемся Мстиславова евангелии или же в Симоновском евангелии 1270 г.⁴ Таким образом, употребление исключительно

³ По предположению А. А. Зализняка (устное сообщение), источником распространения этой инновации был Новгород, диалекту которого формы типа *живѣ*, *несѣ* могли быть свойственны уже с начала письменной эпохи. В таком случае следует предполагать, что, с точки зрения новгородских писцов XI—XIV вв., формы на *-а* не только не противоречили книжной норме, но, более того, сами воспринимались как престижные, будучи противопоставлены формам на *-ѣ* живой диалектной речи.

⁴ Крайне характерно, что единственный раз эта последовательность нарушается писцом Симоновского евангелия там, где в его оригинале, по-видимому, как в большин-

полных форм от основ на твердый согласный, отмечаемое С. К. Буличем как характерная черта позднего церковнославянского языка XVI—XVII вв. [19], в действительности наблюдается уже в древнейший период развития русского извода.

В памятниках, переведенных, отредактированных или же целиком созданных на Руси, чаще всего имеет место варьирование форм на *-и* и на *-а(-я)*. См., например, в Лобковском прологе 1262 г.: *трасыи сѧ и плача* 32об., *воздържасѧ и постѧсѧ и жестоць живѧ велми* 69об., *кѧтѧсѧ прѣступити не могѧи кѧ^нпа себе исповѣда* 137об., *таче тека прѣскочи мѣсто* 125. При этом в памятниках оригинальной древнерусской книжности преобладание одних или других форм непосредственно зависит от степени ориентированности на канонические образцы. Так, в русских текстах Успенского сборника XII в. употребляются в основном формы на *-и*: *и слзми разливаѧсѧ и не могѧи глати въ срѣци си начатъ сицеваѧ въцѧти* 9б, *отрокъ кѧго вѣрже сѧ на тѣло блаженааго рекуи* 11г, *и тако идиѧи трѣми недѣлами доиде прѣжереченааго мѣста* 31а, *идиѧи поутьмъ оузрѣ распалиноу калноу соуцю* 34б и т. д. (всего более 20 примеров); формы на *-а* представлены единичными примерами, будучи оттеснены на периферию нормы: *и присла юрославъ къ глѣбоу река* 13б, *тѣсто мѣшааше и хлѣбы пека* 42б. Прямо противоположная картина имеет место в Синодальном списке Новгородской I летописи, где употребляются почти исключительно формы на *-а(-я)*: *идѧ оѧ^т соуждадоу възѧ новѧи трѣгъ* 20об., *присла великѧи кнѣзь всеволодъ въ новъгородъ река тако* 72, *тѣгда же кнѣзь посла мишу въ пльсковъ река* 105, *не ждѧ новгородѣць гонисѧ в лодикахъ по нихъ въ слѣдъ* 103 и др. Форма на *-и* отмечена лишь однажды, в третьем почерке: *то^д же лѣ^т поиде кнѣзь михаило изъ орды в роусъ ведѧи съ собою татары* 159. Существенно, однако, что последовательное употребление форм на *-а(-я)* в летописи в свете сказанного выше следует рассматривать не как отступление от церковнославянской нормы, но лишь как последовательную реализацию предоставляемых ею возможностей.

2.1. Как уже было сказано, вопрос о нормативности причастных форм на *-а* имеет смысл лишь применительно к кратким формам, поскольку уже в древнейшую письменную эпоху живой речи восточных славян не были свойственны формы типа *несаи*. В связи с этим приобретает особый интерес рассмотрение тех немногочисленных полных форм на *-аи*, которые, хотя и изредка, но встречаются в древнерусских рукописях (см., например, *приснотекаи* в Изборнике 1073 г., 247а, *смптгаи* в Толстовской псалтыри XI в., пс. XXVI, 2, *живаи* в Студийском уставе XII/XIII в., л. 2, и др.). Поскольку по уже названной причине объяснение этих форм как русизмов, отражающих живое произношение, не может быть принято, его следует искать в особых механизмах порождения книжного текста.

Один из возможных механизмов появления в древнерусских текстах форм на *-аи* указан Б. А. Лариним, который, характеризуя встретившуюся в поучении Серапиона Владимирского (список XIV в.) форму *могаи*, отмечает: «Здесь русское причастие (деепричастие *мога*) оформлено как церковнославянское членное причастие. Такая форма показывает, что привыкший к русской речи проповедник старался оформить свою мысль по-церковнославянски» [20]. Иначе говоря, книжник в данном случае не использует готовую церковнославянскую форму полного причастия, но искусственно конструирует ее, исходя при этом из формы живой речи. При таком подходе формы на *-аи* могут рассматриваться как аналогичные изредка встречающимся в памятниках формам косвенных падежей кратких причастий с суффиксами *-уч/ач* типа *настануча мѣца*, *лѣта исходѧча* (см. свод соответствующих примеров в [17, с. 356]). Данный механизм,

стве славянских списков и греческом тексте, стояла не причастная, но личная глагольная форма: *ходѧи въ тѣмъ не вѣсть како идѧ* 125 (Ио. XII.35); ср. в ОЕ и МЕ: *како идеть*; в греч. *пὸς ἀπάγει*. Отступление, невольное или сознательное, от принятой морфологической нормы в данном случае является следствием индивидуального синтаксического вмешательства в переписываемый текст.

однако, будучи весьма актуальным для оригинальной книжности, едва ли мог распространяться на процесс переписывания канонических текстов. С другой стороны, указанным способом никак не могла быть получена такая форма как *саи*, от глагола «быти», отмеченная в целом ряде памятников (Ефремовская кормчая XII в., Минея Дубровского XI в., Богословие Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха Болгарского XII в. и др.), поскольку в живой древнерусской речи соответствующая краткая форма отсутствовала.

Определение происхождения форм на *-аи* в древнерусских книжных текстах, восходящих к южнославянским протографам, вплотную подводит нас к решению вопроса, сформулированного в начале настоящей статьи словами Н. Н. Дурново, вопроса о соотношении форм на *-а* в древнерусских рукописях и форм на *-а* (графически — на *-а̑, -а̑̑, -а̑̑̑*) в рукописях древнеболгарских. Последовательное разграничение полных и кратких форм обнаруживает принципиальную противоположность между русской и болгарской ситуациями. В древнеболгарских рукописях XI в. формы на *-а̑* представлены исключительно у полных причастий, где они встречаются отнюдь не реже «классических» старославянских форм на *-аи*. При этом краткие формы (за исключением двух форм *неса* в Зографском евангелии⁵) выступают только с флексией *-ы* [21, S. 233]⁶. В русских рукописях, как уже отмечалось, наблюдается противоположная картина: последовательное употребление форм на *-а* отмечаем только для кратких причастий, тогда как у полных формы на *-аи* встречаются лишь sporadически. Это лежащее на поверхности различие полностью игнорируется исследователями, предполагающими генетическую тождественность восточнославянских форм на *-а* и древнеболгарских на *-а̑*. Между тем оно позволяет с достаточной степенью уверенности ответить на вопрос, поставленный Н. Н. Дурново. Нормативность флексии *-а* кратких причастий, характерная для ряда древнейших восточнославянских рукописей, есть, безусловно, факт ассимиляции церковнославянской языковой нормой живой восточнославянской флексии, не зависимый от написаний южнославянских протографов: формы типа *неса, мога*, по-видимому, исконные для всей восточнославянской (и шире — северославянской) территории, появлялись в древнерусских рукописях в соответствии с формами типа *несы, могы* их оригиналов. Что же касается полных форм на *-аи*, то, вполне вероятно, что таким образом древнерусские писцы действительно могли передавать формы типа *неса̑и, несми, несжи*, встречавшиеся в переписываемых южнославянских протографах. В таком случае загадочное *саи* может быть объяснено как восточнославянская интерпретация южнославянских написаний *са̑и, с̑и, с̑̑и*, обычных для древнейших болгарских памятников.

В целом механизм передачи восточнославянскими переписчиками причастных форм древнеболгарских протографов может быть реконструирован в следующем виде;

	др. болг.	др. русск.
краткие формы	<i>несы</i>	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>неса</i></div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>несы</i></div> </div>
полные формы	<i>несыи</i>	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>несыи</i></div> </div>
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>неса̑и</i></div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>неса̑и</i></div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>несжи</i></div> </div>	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ {<i>неса̑и</i> <i>несжи</i>}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">→ <i>несли</i></div> </div>

⁵ Поскольку в других древнейших списках в соответствующих стихах (Мк. XIV. 13; Л. XXII. 10) читаются формы *нос̑а̑*, в написаниях Зографского евангелия естественно видеть результат контаминации образований от разных основ.

⁶ Причины, обусловившие такое распределение флексий, не вполне понятны (см. обзор разных точек зрения в [7]). Неясно также, как соотносятся друг с другом формы типа *неса̑и, нес̑а̑и* и *несжи*, условно объединяемые как «формы на *-а̑*».

Единственно возможные в протографе краткие формы на *-ы* древнерусский писец мог заменить формами своего родного диалекта на *-а*, оставить без изменения или же преобразовать в полные формы на *-ыи*. Сложнее обстояло дело с полными формами. Здесь переписчик сталкивался в протографе с широкой вариативностью форм типа *несыи*, *несди*, *несли*, *несжи* и должен был как-то определить свое отношение к этой вариативности. При этом возможно было несколько решений. Во-первых, писец мог вообще отказаться от особой передачи форм на *ди*, *-ли*, *жи*, избрав в качестве единственно нормативного основной вариант на *-ыи* и таким образом выровняв парадигму по образцу кратких форм⁷. Он мог также перенести в свой список соответствующие формы без изменения. В древнейших русских рукописях присутствуют отдельные формы на *-ли*, *-жи*⁸. Однако был и третий путь. Отмечая вариативность флексий полных форм в оригинале, писец хотел передать ее, избежав при этом механического переписывания непонятных форм. Естественным в таком случае было обращение к средствам собственного языка. Таким образом, вариативность форм на *-ый* и на *-ди*, *-ли*, *-жи*, имевшая место в оригинале, в списке могла отразиться в виде вариативности форм на *-ыи* и на *-аи*. Характерно, что именно такую картину мы наблюдаем в Ефремовской кормчей XII в., которая, возможно, представляет собой список непосредственно с южнославянского оригинала [22]. В этом памятнике формы на *-аи* (*выкнаи*, *выргаи*, *живаи*, *саи*) встречаются чаще, чем в других древнейших восточнославянских рукописях (см. полный список примеров в исследовании С. П. Обнорского [23])⁹.

Последние два способа передачи южнославянских полных форм на *-а* в практике восточнославянских книжников занимали, однако, периферийное положение, тогда как безусловно доминирующей была тенденция к единообразному оформлению всех форм полных причастий посредством флексии *-ыи*. Таким образом, полные формы на *-аи*, представлявшие собой, как можно думать, искусственные образования, иногда употреблявшиеся на первых порах в соответствии с южнославянскими формами на *-ди*, *-ли*, *-жи*, были оттеснены на периферию книжного языка и не прижились в системе его грамматических норм.

2.2. Тезис о периферийном положении причастных форм на *-аи* в древнерусском книжном языке нуждается, однако, в одном существенном уточнении. На фоне абсолютного господства полных форм на *-ыи* и отдельных разрозненных форм на *-аи* в древнерусских рукописях XI—XIV вв. (как и в более поздних) мы встречаемся с последовательным употреблением данной флексии в форме *всьемогаи*. Только из рукописей XI—XIII вв. нам известно более 30-и примеров (включая шесть примеров, по разным поводам приводившихся ранее [2, с. 111; 3, с. 94; 24: 25, с. 366]). Количество их может быть легко умножено, поскольку данная форма регулярно встречается в одних и тех же контекстах. Ее мы трижды находим, например в стихирах в Неделю жен-мироносиц и в Неделю о расслабленном, причем эта триада примеров переходит из одной рукописи в другую (Стихирарь постный и цветной XII в. ЦГАДА, ф. 381, № 148, л. 173, 176об., 176а; Стихирарь постный и цветной XII в. ЦГАДА, ф. 381, № 147, л. 118об., 119; Стихирарь XII в. Хиландарского монастыря (изданный Р. О. Якоб-

⁷ Возможно, именно этим вторичным выравниванием, а не отражением исходной старославянской парадигмы следует объяснять тот факт, что в древнейших русских списках Евангелия последовательно употребляются формы на *-ыи*, тогда как в древнейших южнославянских кодексах имеет место, как уже говорилось, широкая вариативность флексий полных форм.

⁸ См., например *живжи*, *сжи*, *словжи* в Чудовской псалтыри, *сди*, *сжи* в Словах Григория Богослова, *живжи* в Изборнике 1073 г. и др. [3, с. 94].

⁹ В плане соотношения трех указанных механизмов характерно сопоставление старославянской Синайской псалтыри (СП) с тремя древнерусскими псалтырями XI в.: Чудовской (ЧП), Бычковской (БП, Ленинградская и Синайская части) и Толстовской (ТП). В СП имеет место варьирование (в соотношении 6 : 4) форм на *-ыи* и *жи* [21, S. 233]. В ЧП это варьирование сохраняется (см. примеры в сноске 8). В БП употребляются исключительно формы на *-ыи*. Наконец, в ТП мы находим как формы на *-ыи*, так и формы на *-ди* (*гряджи* СХVII, 26) и на *-аи* (*стрѣгаи* СХХVI, 2 в соответствии с *стрѣжи* в СП).

соном [26]), л. 81, 82, 82об.; Стихирарь постный и цветной XIII в. (так называемая «Саввина триодъ» до 1266 г.), л. 150 об., 154). Как типичный пример употребления формы *всемогаи* в певческом тексте приведем фрагмент из Триоди Моисея Киянина XII—XIII вв. (ЦГАДА, ф. 381, № 137): *слава славь твою прѣславъ твою исоусе положи бо сѧ яко мъртъвь волею въскрсе волею яко бѣ въскрсивъ весь миръ своимъ въскрсениємъ како въ семогаи* л. 230.

Очевидная маркированность формы *всемогаи* в древнейших памятниках русского извода заставляет считать, что мы имеем дело не с набором окказиональных употреблений, но с особой нормой написания данного слова, представляющего собой сакральный термин, одно из важнейших определений Бога, выступающее нередко в функции его прямого обозначения¹⁰.

Причины, обусловившие отмеченную маркированность формы сакрального термина *всемогаи* в русском изводе церковнославянского, могут быть указаны вполне однозначно. Как неоднократно отмечалось в лексикологической литературе, слово *всемоги* в лексической системе старославянского языка представляет собой моравизм, а точнее — кальку с латинского — *omnipotens*, возникшую на моравской почве еще до прихода кирилло-мефодиевской миссии и включенную впоследствии в систему созданного солунским братьями литературного языка [29, с. 152; 30, с. 65—67; 31; 32]. При этом внимание исследователей старославянской лексики было до сих пор сосредоточено лишь на самой лексеме, записываемой в стандартной для старославянской грамматики форме на *-и*. Между тем очевидно, что в культурном языке Моравии в докирилло-мефодиевскую эпоху могла существовать лишь форма *всемогаи*, но никак не *всемоги*, поскольку северной диалектной зоне вообще не была свойственна флексия *-и*.

Объяснить последовательную маркированность формы *всемогаи* в русских рукописях XI—XIII вв. можно, лишь предположив, что мы имеем дело с уникальным морфологическим отголоском традиции докирилло-мефодиевского культурного языка моравских славян, реликтом грамматики тех переводов с латыни на местный славянский диалект, которые были осуществлены баварским (и, по-видимому, также ирландским, см. [30]) духовенством в период первоначального распространения христианства у славян. Сохранением этого реликта мы обязаны сакральной природе данного термина, обусловившей усвоение его старославянской языковой системой в исходном морфологическом оформлении, пусть и противоречившем грамматической норме нового литературного языка с его южнославянской диалектной основой.

Косвенным свидетельством отражения указанной традиции уже в древнейшем, великоморавском слое церковнославянской книжности, является один из наиболее значительных примеров употребления формы *всемогаи* в древнерусских рукописях. Эту форму мы находим во фразе, открывающей собой обширный богословского содержания пролог к житию Мефодия, древнейший список которого входит в состав Успенского сборника XII в.: *бѣ благъ и всемогаи иже ксть створилъ ѿ небытия въ бытиѣ всьмъ-скака* л. 102 в. Замечательная последовательность, с которой данная форма, занимающая ключевое положение в тексте, сохраняется во всех без исключения списках жития XII—XVII вв. [33], позволяет предполагать, что мы имеем дело с традицией, восходящей к оригиналу, созданному,

¹⁰ Сакральность формы *всемогаи* как одного из обозначений Бога находит себе эксплицитное выражение в следующем фрагменте из апокрифической «Беседы трех святителей» (по русскому списку XV в.): *василіи рече оцъ и снъ и стѣи дхъ ки образъ славитсѧ оцъ григоріи рече еди оцъ стѣи бгъ всемогаи вседержи безначаленъ и нераздѣленъ нероженъ бесмерте* [27]. Заметим попутно, что традиция написания данной формы отражается и в оригинальных древнерусских текстах. Словарь XI—XVII вв. отмечает ее употребление в написанном Епифанием Премудрым Житии Стефана Пермского (список XV в.): *вдко мнгожлтвие всемогаи, даи же намъ по-мощь от печали, послѣ млсть свою* [28].

несомненно, в великоморавский период развития старославянской письменности.

Тенденция к сохранению неизменным исходного облика сакрального имени в изменившейся с приходом в Моравию кирилло-мефодиевской миссии литературно-языковой ситуации не могла не прийти в противоречие с противоположной тенденцией к единству новой морфологической нормы. Маркированность формы термина была лишь одним из возможных вариантов разрешения этого противоречия. Написание термина могло также подчиниться требованиям морфологической нормализации. Уже в древнейшем дошедшем до нас памятнике моравского церковнославянского — Киевском миссале — последовательно проводится написание *всьеомгыи*. Вариативность форм *всьеомгыи/всьеомгаи* имеет место и в памятниках русского извода, причем она может наблюдаться и в рамках одного и того же текста. См., например, в Триоди XI/XII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 138): *всьеомгыи* л. 123, 148; *всьеомгаи* л. 124, 134. Такое варьирование, очевидно, отражает продолжающееся противоборство двух названных тенденций.

Употребление формы *всьеомгаи* в культурном языке Великой Моравии IX в. и ее употребление в древнерусских рукописях XI—XIII вв. — это начальное и конечное звенья одной цепи. Предстоит выяснить теперь, каковы были ее промежуточные звенья, т. е. как конкретно произошло закрепление рассматриваемого явления в норме русского извода?

Естественнее всего предположить здесь непосредственное западнославянское влияние. Масштабы этого влияния в X—XI вв. были, как известно, довольно значительны; следы его обнаруживаются и в русском изводе церковнославянского языка [14, с. 46]. К их числу, по-видимому, можно отнести и интересующее нас написание. По крайней мере, употребление формы *всьеомгаи* в таких памятниках, как Беседы папы Григория Двоеслова [25, с. 366] или Ярославский молитвенник XIII в. [34] может быть с большой вероятностью возведено к западнославянским протограммам этих рукописей и рассмотрено как следствие прямого взаимодействия русского извода церковнославянского с чешским изводом. Последний, в свою очередь, мог унаследовать маркированность формы *всьеомгаи* лишь непосредственно от моравского варианта церковнославянского (наличие прямой преемственности между ними в настоящее время может считаться доказанным, см. [35]).

Наибольший интерес для объяснения представляет систематическое употребление формы *всьеомгаи* в древнерусских певческих рукописях. Именно на гимнографические тексты приходится огромное большинство известных нам примеров. Совершенно очевидно также, что именно гимнографическая традиция явилась источником употребления данной формы авторами оригинальных древнерусских литературных текстов (см. сноску 10).

Каким образом могла сложиться маркированность формы *всьеомгаи* в древнерусских гимнографических текстах? Едва ли на этот вопрос можно ответить однозначно. Предположить и здесь непосредственное западнославянское влияние мешает отсутствие достоверной информации о скольких-нибудь интенсивных западнославянско-русских контактах в области гимнографии. Основной корпус гимнографических текстов, бытовавших на Руси, сложился, как считает большинство исследователей, в конце IX—X вв. на территории Болгарии. В западнославянских землях славянское богослужение по византийскому обряду практически не получило распространения. Поэтому, если такого рода контакты и были, они едва ли могли иметь решающее значение для закрепления формы *всьеомгаи* в древнерусской гимнографии.

Можно предположить, далее, что данная форма, воспринятая русским изводом церковнославянского из текстов круга Бесед папы Григория Двоеслова, распространилась впоследствии и в текстах гимнографических. Однако такое влияние на устойчивую традицию языка гимнографии со стороны отдельных примеров, разбросанных по не связанным друг с другом текстам, маловероятно. Основное объяснение нужно искать, не выходя за пределы самой гимнографической традиции.

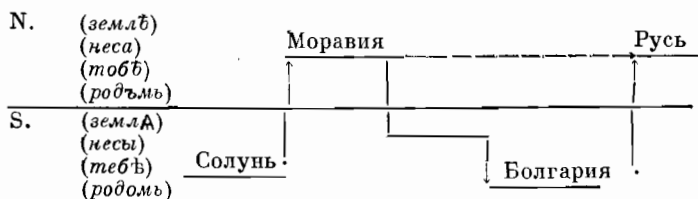
Когда и где появились первые славянские переводы византийской гимнографии, точно не известно. Начало перевода Постной и Цветной триоди связывается иногда с именем самого Мефодия. Согласно другой точке зрения, эти переводы были выполнены уже на территории Болгарии учениками Мефодия (обзор разных мнений по этому вопросу см. [36, с. 20—22]). Очевидно, однако, что развернувшаяся здесь активная деятельность по переводу гимнографических текстов явилась прямым продолжением работы, начатой еще в Моравии. Об этом свидетельствует прежде всего значительный слой лексических моравизмов, выявленный в тексте славянского перевода Триоди [37]. К их числу следует отнести и интересующую нас лексему. Возникнув как калька с латинского причастия, в текстах гимнографических она употребляется в соответствии с греческим прилагательным *παντοδύναμος*. Отсюда можно заключить, насколько значительна была инерция моравской переводческой школы, оказавшаяся сильнее, чем требование точности передачи греческого текста. Можно предположить, что на первых порах переводчики и переписчики древнеболгарских гимнографических текстов, употребляя заимствованный моравский термин, могли сохранять его грамматическое оформление, и что, таким образом, формы *всьемогаи* попали в древнерусские списки через посредство южнославянских. Хотя в болгарских рукописях формы на *-аи*, кажется, не засвидетельствованы, отвергать возможность такого посредства не следует: известны примеры употребления в текстах, созданных на территории Болгарии, христианских терминов с ярко выраженными формальными признаками моравского происхождения (см., например, написание *розьство* в предпраздничных трипеснях на Рождество Климента Охридского [36, с. 57, 144]).

Маркированность формы термина могла проявиться в болгарских рукописях не обязательно в прямом сохранении моравской флексии. Выше уже была отмечена возможность интерпретации полных форм на *-аи* древнерусских памятников как своеобразной передачи южнославянских полных форм на *-а* (графически — на *-аи*, *-ли*, *-жи*). Можно думать, что и болгарские книжники могли осуществить аналогичную процедуру, отождествив флексию *-аи* в форме заимствованного моравского термина с собственными полными формами на *-а*. В таком случае появление в русских рукописях формы *всьемогаи* выступает как результат своего рода «декодирования», возвращения термину его первоначальной формы.

Замечательно, что в древнейших болгарских списках гимнографических текстов мы находим примеры, подтверждающие возможность такого развития. Так, в Копитаровой триоди XIII в. [38] и Григоровичевом паремейнике XII в. [39] (стих из Постной триоди) отмечены формы *всьемогажи*, явно выделяющиеся на фоне нормативного употребления в этих текстах полных форм на *-аи*. Такая маркированность формы *всьемогажи* в древнеболгарских рукописях вполне могла стать источником маркированности формы *всьемогаи* в древнерусских списках тех же текстов. Показательно, что именно эту форму мы находим в соответствующем месте одного из древнейших русских списков Паремейника (ЦГАДА, ф. 381, № 50, л. 5об.).

Исключительно показателен в интересующем нас отношении материал древнерусского списка XII в. Учительного Евангелия Константина Болгарского (ГИМ, Син. 262). В этом тексте на фоне последовательного употребления полных форм на *-аи* трижды отмечена форма *всьемогаи* (д. 19об., 137об.2х) и один раз — форма, переданная в описании А. В. Горского и К. И. Невоструева [40] как *всьемогоуи*, а в публикации арх. Антония (Вадковского) [41] — как *всьемогуи*; *въ нь же днь хощеть соудити всьемогуи бѣ всемоу миру* (л. 154). Недоступность рукописи в настоящий момент не позволяет проверить, какая форма в действительности стоит в тексте, однако очевидно, что данное написание представляет собой неискusstную передачу формы *всьемогажи* болгарского протографа. В одном из четырех случаев русский писец, по-видимому, забыл осуществить подстановку *а* вместо *ж*, предоставив в наше распоряжение прямое доказательство действия описанного выше механизма.

3. Реконструированная таким образом история формальных преобразований сакрального термина *всьемагаи* в великоморавском, древнеболгарском и древнерусском изводах церковнославянского представляется достаточно закономерной, если рассматривать ее в более широком лингвистическом контексте. Возвращаясь к исходному пункту настоящей работы, вспомним, что противопоставление флексий *-а/-ы* в формах типа *неса/несы* относится к числу древнейших изоглосс, разделявших северную и южную диалектные зоны позднего праславянского. К тому же пучку изоглосс относится противопоставление флексий *-ě/-e* палатальных *ja-* и *jo-*основ (*земѣ/земля*), противопоставление флексий *-ъмь(-ьмь)/-омь(-емь)* Т. ед. *о-*основ и, скорее всего, оппозиция форм Д-М. местоимений *тобѣ, собѣ/тебѣ, себѣ*. Условно представив этот пучок изоглосс в виде горизонтальной линии, историю церковнославянского языка в древнейший период можно (отвлекаясь от частных и учитывая лишь магистральные пути развития) представить в виде ломаной линии, основными вершинами которой являются Солунь, Моравия, Болгария (как западная, так и восточная) и, наконец, Русь.



В своем движении на Русь церковнославянский язык дважды пересекает границу северной и южной диалектных зон в направлении с юга на север и один раз — с севера на юг. При всем различии культурно-исторических ситуаций приход Константина и Мефодия с уже готовым переводом Евангелия к моравским славянам и появление южнославянских рукописных книг на Руси в эпоху ее крещения с лингвистической точки зрения означали сходное изменение диалектной среды функционирования древнеславянского литературного языка. Есть основания полагать, что и реакция церковнославянского на это изменение была сходной. Показательно в этом отношении сопоставление Киевского миссала с древнейшими памятниками русского извода. В обоих случаях мы наблюдаем сохранение в языке памятников, написанных на севере, таких южных диалектных черт, как формы типа *земля* (Р. ед.) или *тебѣ* (Д-М.), при полном господстве севернославянского *-ъмь* в Т. ед. Поскольку в русском изводе такая ситуация устанавливается уже начиная с древнейших памятников, близких ко времени зарождения восточнославянской книжности, можно полагать, что и Киевские листки также отражают древнейшее состояние моравского церковнославянского в кирилло-мефодиевскую эпоху.

Таким образом, в истории образования русского извода церковнославянского языка частично повторяются процессы, уже имевшие место в древнейшей истории церковнославянского. Так, закрепление в норму русского извода флексии *-ъмь* Т. ед. не может рассматриваться как вытеснение «старославянского» *-омь*. Последнее лишь вытеснило северное *-ъмь* в текстах, созданных на юге. Вернувшись опять в северную диалектную зону, церковнославянский язык вновь восстанавливает норму, свойственную ранее его великоморавскому варианту. Определенную (хотя и второстепенную) роль в этом процессе могли сыграть и прямые контакты русского извода с чешским (на схеме отмеченные пунктиром). В контексте такой эволюции литературного языка изложенная выше история преобразований формы *всьемагаи* выглядит вполне естественной.

В целом история форм номинатива действительных причастий на *-*onts* в русском изводе церковнославянского, некоторые аспекты которой были рассмотрены в настоящей статье, представляется достаточно показательной. Она явно не укладывается в рамки упрощенной трактовки процесса формирования русского извода как ряда замен абстрактных «старославянских» черт на столь же абстрактные «древнерусские». Такой подход не

В состоянии объяснить, например, тот факт, что в ряде случаев генетически южнославянские формы на *-yi* появляются в рукописях уже на русской почве, заменяя собой также южнославянские формы на *-ли*, *-ли*, *-жи*, тогда как «древнерусские» формы на *-ai* могут отражать древнейшую инославянскую традицию, восходящую еще к докирилло-мефодиевской эпохе. Между тем именно эта неоднозначность соответствий, обусловленная разнообразием источников русского извода и механизмов интерпретации этих источников, позволяет представить формирование национального извода церковнославянского языка не в виде отвлеченной схемы, но как живой процесс, разворачивающийся на фоне интенсивных межславянских культурно-языковых контактов древнейшей письменной эпохи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб., 1907, с. 164.
2. *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
3. *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI—XII вв. как памятники старославянского языка. — Южнославянский филолог. Т. IV, 1924.
4. *Meie A.* Общеславянский язык. М., 1951, с. 268.
5. *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М., 1957, с. 136.
6. *Селищев А. М.* Старославянский язык. Ч. II. М., 1952, с. 187.
7. *Ferrel J. O.* On the Slavic Nom. Sg. Masculine and Neuter of the Present Active Participle and the Problem of *ě Tertium*. — In: *Studia Palaeoslovenica*. Praha, 1971.
8. *Wijk N. Van.* Zur Entwicklung der partizipialen Nominativendung *-onts* in den slavischen Sprachen. — *Zeitschrift für Slavische Philologie*, 1925, № 2, S. 279—286.
9. *Schmalstieg W. R.* Slavic Morfeme Alternatios in *ěļe* and *aly*. — *Slavic and East European Journal*, 1968, N 12, p. 44—52.
10. *Zubaty J.* Zur Declination der sog. *-ja* und *-jo*-Stamme im Slavischen. — *Archiv für slavische Philologie*, 1893, N 15, S. 503.
11. *Мареш Ф. В.* Ранний период морфологического развития славянского склонения. — Вопросы языкознания, 1962, № 6, с. 20.
12. *Георгиев В. И.* Основни проблеми на славянската диахронна морфология. София, 1968, с. 148—150.
13. *Тот И.* Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII в. София, 1985, с. 319.
14. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка XI—XVII вв. München, 1987.
15. *Гиппиус А. А.* Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения. — Вопросы языкознания, 1989, № 2, с. 94—96.
16. *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981, с. 354—355.
17. *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* История причастий. — В кн.: Историческая морфология русского языка. Глагол. М., 1982.
18. *Обнорский С. П.* Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 г. — Изв. ОРЯС, 1925, т. 29, с. 226.
19. *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. СПб., 1893, с. 337.
20. *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка. X — середина XVIII в. М., 1975, с. 131.
21. *Diels P.* *Altkirchenslavische Grammatik*. Bd. 1. Heidelberg, 1932.
22. *Шапов Я. Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978, с. 363.
23. *Обнорский С. П.* О языке Ефремовской кормчей. — В кн.: Исследования по русскому языку. Т. III, вып. 1. СПб., 1912, с. 79.
24. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I. СПб., 1893, с. 469.
25. *Slovník jazyka staroslovenského*. D. 7. Praha, 1963.
26. *Fragmenta Chilandarica Palaeoslavica*. Praefatus est R. Jakobson. A. Sticherarium. Codex monasterii Chilandarici 307 phototypice depictus. Copenhagen, 1957.
27. *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. Т. II. СПб. — М., 1863, с. 431.
28. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 3. М., 1976, с. 126.
29. *Соболевский А. И.* Церковнославянские тексты моравского происхождения. — РФВ, 1900, т. 43, № 1/2, с. 152.
30. *Исаченко А. В.* К вопросу об ирландской миссии у моравских и паннонских славян. — В кн.: Вопросы славянского языкознания. Вып. 7. М., 1963.
31. *Мареш Ф. В.* Древнеславянский литературный язык в великоморавском государстве. — Вопросы языкознания, 1961, № 2, с. 21.
32. *Auty R.* The Western Lexical Elements in the Kiev-Missal. — In: *Slavisch-Deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur*. Berlin, 1969, p. 5.
33. *Климент Охридски.* Събрани съчинения. Т. 3. София, 1973, с. 164—167.

34. *Mareš F. V.* An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin.— Slavische Propilaen, 1979, N 127, p. 79.
35. *Mareš F. V.* Česká redakce církevní slovanštiny v světle Besed Ěnoře Velikého (Dvojeslova).— Slavia, 1963, roč. 32, s. 428.
36. *Попов Г.* Триодни произведения на Константин Преславски.— В кн.: Кирило-Методиевски студии. Кн. 2. София, 1985.
37. *Русек Й.* Из лексиката на среднебългарските триоди.— Известия на Института за български език, 1969, с. 149—180.
38. *Ильинский Г. А.* Копитарова триодъ XIII в.— РФВ, 1906, т. 55, ч. 1/2, с. 213.
39. Григоровичев паримейник. В сличении с другими паримейниками издад В. Брандт.— ЧОИДР, 1894, кн. 1, отд. 2, с. 58.
40. [*Горский А. В., Невоструев К. И.*] Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. 2. Писания догматические и духовно-правственные. М., 1859, с. 429.
41. *Антоний, еп. выборгский.* Из истории древнеболгарской проповеди. СПб., 1892, с. 240.



ХРОНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛАВЯНСКИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ РАННЕЙ ИСТОРИИ СЛАВЯН

Я начну с напоминания о том, что взгляды на относительную хронологию ранних общеславянских языковых изменений за последние десятилетия подверглись радикальному пересмотру.

Как известно, исследования предыдущего периода, оперировавшие главным образом — если не исключительно — относительной хронологией отдельных явлений, старались избегать уточненных датировок фонетических процессов или предпочитали относить их к отдаленному прошлому. Подобная трактовка заставляла предположить ранний распад праславянской общности, что хорошо согласовывалось с почти общепринятым мнением о том, что первоначально славяне были расселены на большой территории. Так, еще в 1961 г. М. Рудницкий утверждал, что разделение славян на западных, восточных и южных должно было наступить уже в I—II вв. н. э. на территории, покрывавшей значительную часть тогдашней Восточной Европы [1], а Т. Лер-Сплавинский и А. Фурдаль склонны были датировать начало диалектного распада праславянского языка II—IV вв. н. э., т. е. периодом, предшествовавшим усилению славянской экспансии на Балканском полуострове [2; 3]. Впрочем, еще в 1974 г. К. Дейна датировал начало распада диалектов рубежом новой эры [4], а в недавней книге Л. Мошинского [5] также можно найти ранние датировки для некоторых фонетических изменений в славянском.

Ряд исследований [6—10] отличает усиленное внимание к последовательным этапам развития фонологической системы праславянского языка. Их авторы не предпринимают, однако, попыток установления детальной хронологии рассматриваемых явлений, ограничиваясь в лучшем случае указанием их предполагаемого порядка.

Серьезный пересмотр представлений о хронологии ранних языковых процессов произошел в шестидесятые годы благодаря работам Х. Бидуэлла [11], Дж. Шевелева [12] и З. Штибера [13; 14] (ср. также [15; 16]). Опираясь на материал многочисленных предшественников (таких, как М. Фасмер [17], Э. Кранцмайер [18], В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев [19] и др.), они рассматривают апеллятивы и топонимы, заимствованные из славянского в греческий, романский и финно-угорский, а также заимствования в славянский иноязычных топонимов на территориях, заселенных славянами в ходе их продвижения на юг и северо-восток. К настоящему времени у нас есть возможность установить достаточно точную хронологию этапов продвижения. Как известно, районы Белоруссии, первоначально заселенные балтийскими племенами, а также смежные районы великорусского ареала были заняты славянами в V в. н. э., контакт с фин-

но-угорскими племенами следует отнести к VI в., а массовая миграция на Балканы датируется примерно 600 г. н. э.

Выводы, к которым приводят названные исследования, общеизвестны. Они, в сущности, сводятся к констатации того, что язык славянских племен в период, предшествовавший распаду праславянской языковой общности (сохранявшейся до 500 г. н. э.), был с фонетической точки зрения весьма однородным и что первые диалектные различия совпадают по времени с началом крупных миграций.

Разумеется, не все языковые процессы удается точно датировать, однако для значительной их части новые датировки находят среди исследователей еще большее число сторонников.

Далее, мне хотелось бы сконцентрировать внимание на тех фонетических изменениях в славянском ареале, которые имели место уже во второй половине I тысячелетия н. э., но затронули все диалектные зоны, т. е. таких, которые следует считать общеславянскими. Заметим, что фонетические изменения, обнаруживающие различный результат для разных диалектов (например, вторая палатализация, судьба сочетаний **tärt*, различные результаты вокализации редуцированных и многие другие, свидетельствующие о росте числа диалектных различий), хорошо изучены с точки зрения их распределения по территориям, занятым славянами после 500 г. н. э., в то время как языковые изменения, общие для всей этой обширной территории, требуют более внимательного изучения, тем более, что на родство и языковые связи в данном случае указывают, судя по всему, не архаизмы, а общие для всего ареала языковые процессы. К этим общим языковым процессам, которые, по мнению современных исследователей, могут быть помещены в определенные временные рамки, следует отнести: первую палатализацию, переход слав. **ū* > (так называемое *ū*₁ >) *y*, монофтонгизацию дифтонгов **ai*, **ei*, **au*, **eu*; возникновение редуцированных гласных, появление *o* на месте старого краткого **ǫ*.

Наиболее простой задачей оказывается датировка первой палатализации, которая, судя по славянским топонимам балтийского происхождения, действовала еще в V в., т. е. во время колонизации верхнего Поднепровья (ср. балтийские гидронимы *Vilkesa*, *Akesa*, *Laukesa*, давшие в славянском *Volčesa*, *Očesa*, *Lučesa*), но перестала действовать к моменту проникновения славян на Пелопоннес, т. е. к VI—VII вв. (подробнее см. [12; 14]). Более трудной представляется задача установления нижней временной границы для этого общеславянского процесса, которую пытались определить с помощью анализа заимствований из германских языков. Однако нижняя граница имеет с точки зрения нашей задачи гораздо меньшее значение (так как в этом случае речь идет о времени до распада праславянской общности), чем определение времени окончания обсуждаемого процесса.

По предположению З. Штибера [14; 20] переход *ū* в *y* был обусловлен делабиализацией *ū*, которая охватила весь славянский ареал и, в результате постепенного распространения nelaбиализованного рефлекса *ū*, привела к появлению *y* (*i* в южнославянских диалектах). Другие авторы [5; 12; 21] склоняются к тому, чтобы предположить здесь промежуточную стадию дифтонга, причем Л. Мошинский относит монофтонгизацию *y* к более поздним процессам, приведшим к различной рефлексации *ū* в разных славянских диалектах (*y/i*). Таким образом, в настоящее время существуют по крайней мере две точки зрения на характер этого процесса: в одном случае общеславянской признается делабиализация, а в другом — дифтонгизация праславянского *ū*. С этим связаны различные датировки перехода *ū* > *y/i*. З. Штибер склонялся к тому, чтобы датировать процесс делабиализации V в., поскольку соответствия слав. *ū*, обнаруживающиеся в более поздних заимствованиях из славянского в финском, новогреческом и других языках, отражают nelaбиализованный вариант; Дж. Швелев предпочитает интерпретировать те же самые формы как следы старого *ū*, а последующий переход *ū* > *y* относить к VIII—IX вв. Вообще говоря, давно изучаемая проблема фонетической интерпретации изменений праславянского *ū* на отдельных этапах его развития (ср. [22])

допускает несколько решений, одно из которых относит основное фонетическое изменение к периоду около 500 г., а другие предполагают в этом процессе последовательность более поздних явлений, которые необязательно являются общеславянскими. Разноречивость исходного материала неизбежно приводит к различным интерпретациям.

В том, что касается монофтонгизации дифтонгов *ai*, *ei*, *au*, *eu*, исследователи до недавнего времени опирались в основном на методы относительной хронологии, датируя эти явления периодом между первой и второй палатализациями. В настоящее время благодаря работам Шевелева, материалом для которых послужили главным образом заимствования в славянский иноязычных топонимов, относящихся к районам позднего заселения, многие авторы (в том числе З. Штибер и А. Лампрехт [13; 23]) относят процессы монофтонгизации в славянском к V и VI вв. н.э. На поздний характер этого явления указывают, в частности, славянские гидронимы *Lučesa* (из балт. *Laukesá*) в верхнем Поднепровье, белорусский гидроним *Huja* (из лит. *Gaujá*) в бассейне Немана, которые могли быть заимствованы в славянский уже в V в. С другой стороны, славянские топонимы *Lovret* (из романского *Lauretum*), *Tovrljan* (из **Tauriana*) указывают на то, что ко времени контактов славян с племенами, заселявшими Балканский полуостров, монофтонгизация *au* уже завершилась (см. полный материал в работе [12, р. 271ff, 285ff]). При этом предполагается, что хотя монофтонгизация была общеславянским процессом, она не обязательно действовала одновременно на всей славянской территории [14, s. 23], что можно было бы доказать более детальным анализом всего (довольно, впрочем, ограниченного) материала, имеющегося в нашем распоряжении. Однако, по мнению Л. Мошиньского [5; 24], монофтонгизация дифтонгов *au*, *eu* значительно опередила монофтонгизацию *ai*, *ei* и, возможно, произошла уже на рубеже старой и новой эры, до первых заимствований в славянские языки из готского. По его мнению, уже в эпоху заимствований из готского должна была произойти фонологическая субституция, состоявшая в замене готских дифтонгов славянскими монофтонгами.

Возникновение славянских редуцированных из старых кратких гласных **i*, **ü*, несомненно, относится к более поздним явлениям. Германские (в частности, готские) и финские заимствования из славянского (ср. фин. *akkuna*, *lusikka* при славянских **окъно*, **лъзька*) указывают на присутствие в заимствованных словах **i*, **ü* в то время, как первый славянский алфавит уже фиксирует *ь* и *ъ*. На этом и основывается гипотеза Дж. Шевелева и З. Штибера о позднем (вероятнее всего, конец VII в.) возникновении редуцированных. Штибер готов, кроме того, предположить, что этот процесс не был одновременным для всей славянской территории [13].

Возникновение славянского *o* из старого краткого **ǎ* также принято считать поздним явлением. В пользу предположения о том, что праславянский язык не знал гласного *o*, свидетельствуют многочисленные финские и новогреческие заимствования с *a* на месте позднейшего славянского *o*, а также регулярная передача с помощью *o* этимологического *ǎ* в заимствованиях из диалектов, соседствовавших со славянскими (**ol(τ)tarь*, **ocьtь*, **poganь* из *altare*, *acetum*, *paganus*). Вероятнее всего переход *ǎ* в *o* произошел в IX в. [12; 14; 23]. В южно- и западнославянских текстах IX—XI вв. на месте праславянского **ǎ* неизменно обнаруживается *o*. Это, однако, не значит, что переход *ǎ* > *o* произошел одновременно на всей славянской территории. Так, по мнению З. Штибера, у восточных славян этот процесс мог закончиться уже после принятия христианства (подробнее см. [14, s. 30]).

Во всех рассмотренных выше случаях для нас особенно важно установление нижней временной границы фонетического процесса (*terminus ad quem*), поскольку чем более поздним временем датируется эта граница, тем более широкое пространство должны были охватить соответствующие общеславянские инновации.

В отношении двух рассмотренных выше фонологических изменений можно считать, что первая палатализация была относительно ранним явлением, начавшимся еще до массовой экспансии славян, а начало изменения

ū в *y*, происходившего в несколько этапов (допускающих различные интерпретации), также могло иметь место в домиграционную эпоху, поскольку для последующих этапов обнаруживаются существенные территориальные и хронологические расхождения. Процесс монофтонгизации дифтонгов, несомненно, также закончился до начала крупной экспансии в южном направлении. После расселения славян на северо-востоке, западе и юге произошли еще два общеславянских фонетических изменения: старые краткие **ū* и **ī* стали редуцированными гласными, а старое **ǫ* перешло в *o*. Эти два процесса следует считать последним преобразованием общеславянской фонологической системы, которая в это время уже испытывала сильные дивергентные тенденции в соответствии с возникавшей в то время новой ареальной структурой. Эта структура и стала основой различных, уже независимо развивавшихся языковых систем. Последние общеславянские фонетические процессы, еще актуальные по окончании периода крупных миграций, оказались в некотором роде последним проявлением поразительной фонетической монолитности праславянского языка непосредственно перед распадом славянской общности. С этой столь долго сохранявшейся монолитностью связана одна из важнейших нерешенных проблем ранней истории славян: проблема фактических размеров славянской прародины в эпоху, непосредственно предшествовавшую большим миграциям в восточном, западном и южном направлениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rudnicki M. Praslówiańszczyzna-Lechia-Polska. T. II. Poznań, 1961, s. 132—133.
2. Lehr-Splawiński T. Próba datowania tzw. II palatalizacji spółgłosek tylnojęzycznych w języku praslówiańskim.— *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*, N 1, 1955, s. 375—383.
3. Furdal A. Rozpad języka praslówiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961.
4. Dejna K. Dialekty polskie. Wrocław, 1973, s. 44ff.
5. Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa, 1984.
6. Van-Beik H. К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода.— *Slavia*, t. XIX, 1949/1950, с. 293—313.
7. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Lyon, 1950.
8. Mareš F. V. Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jednoty.— *Slavia*, t. XXV, 1956, с. 443—495.
9. Mareš F. V. Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen. München, 1969.
10. Дуриданов И. За праславянския вокализъм.— В кн.: Славистични изследвания. София 1968, с. 17—25.
11. Bidwell Ch. E. The Chronology of Certain Sound Changes in Common Slavic as Evidenced by Loan from Vulgar Latin.— *Word*, t. XVII, 1961, p. 105—127.
12. Shevelov G. Y. A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.
13. Stieber Z. Problèmes fondamentaux de la linguistique slave. Wrocław, 1968.
14. Stieber Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa, 1979.
15. Birnbaum H. O możliwości odtworzenia pierwotnego języka praslówiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej (Kilka uwag o stosunku różnych podejść).— In: American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. T. I. Linguistics and Poetics. The Hague, 1973, p. 33—58.
16. Birnbaum H. Common Slavic. Progress and Problems in Its Reconstruction. Reprint. Ohio, 1979.
17. Vasmer M. Die Slaven in Griechenland. Berlin, 1941.
18. Kranzmayer E. Ortsnamenbuch von Kärnten I, II. Klagenfurt, 1956, 1958.
19. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов верхнего Поднепровья. М., 1962.
20. Stieber Z. Jak brzmiało praslówiańskie «y»?— In: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 2. Językoznawstwo. Warszawa, 1963.
21. Nalepa J. Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad. Poznań, 1968.
22. Schwartz E. Zur Chronologie von asl. *ū* > *y*.— *Archiv für slavische Philologie*, N 42, 1929, S. 275—285.
23. Lamprecht A. Praslóvanština a její chronologické členění.— In: Československé přednášky pro VIII mezinárodní sjezd slavistů. Praha, 1978, s. 141—150.
24. Мошинский Л. О времени монофтонгизации праславянских дифтонгов.— *Вопросы языкознания*, 1972, № 2, с. 53—67.



НЕЩИМЕНКО Г. П.

О ХОДЕ МНОГОСТОРОННЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

В соответствии с Долгосрочной программой многостороннего сотрудничества академий наук социалистических стран (раздел «Целевые проекты» — ЦП) ученые НРБ, ПНР, СССР, ЧССР на протяжении двух последних пятилеток (1981—1990) ведут совместную разработку одной из приоритетных областей современной лингвистики — сопоставительного изучения близкородственных языков, в данном случае славянских. Координатор ЦП — сектор этнолингвистики и славянского фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР. Основными международными партнерами являются Институт болгарского языка БАН, Институт славяноведения ПАН, Институт чешского языка ЧСАН и Институт языкознания им. Л. Штура САН.

Следует подчеркнуть, что обращение к сопоставительному методу как к инструменту исследования для участников ЦП не было случайным. Данный метод имеет широкий спектр применения в самых различных научных сферах. Эффективным является его использование и в языкознании при изучении однопорядковых изофункциональных феноменов в близкородственных языках, различных формах существования национального языка, различных синхронных срезах одного и того же языка. К исследованию могут привлекаться и факты генетически неродственных языков, однако в последнем случае итоговые результаты не имеют столь большой информативной силы, не затрагивают глубинных системно-функциональных закономерностей.

Несмотря на то, что в современном языкознании сопоставительные исследования ведутся довольно широким фронтом, нельзя не видеть, что зачастую процедура сопоставления выполняется методически недостаточно корректно, при отсутствии единых исходных посылок, при неадекватной интерпретации основного понятийно-терминологического аппарата. Далеко не всегда соблюдается и единая программа при описании сравниваемых языковых феноменов, оценке их значимости в системе языка. В силу этого авторы ЦП с самого начала ставили перед собой не только собственно исследовательские, но и научно-координационные задачи, стараясь привлечь внимание к решению актуальных теоретико-методологических проблем, выработке рабочей модели сопоставления, к уточнению процедуры системно-функционального сопоставления.

На первом этапе сотрудничества конкретным предметом рассмотрения явились закономерности славянского словообразования. При этом к исследованию привлекались не только литературные славянские языки, но и другие формы существования национального языка (территориальные

Нещименко Галина Парфеньевна — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

диалекты, сленги); в известной степени учитывались и факты генетически неродственных языков (английского, немецкого и др.). Именно этой проблематике и был посвящен Международный симпозиум, организованный Институтом славяноведения и балканистики АН СССР в 1984 г. в Москве, получивший большой резонанс у советской и зарубежной научной общности [1]¹. Достаточно сказать, что в его работе приняли участие ученые из 14 зарубежных и 39 советских научно-исследовательских и педагогических центров. В 1987 г. в Москве объединенными усилиями Института славяноведения и балканистики АН СССР и Института русского языка АН СССР был издан итоговый коллективный труд «Сопоставительное изучение славянского словообразования», в котором на конкретном языковом материале были раскрыты и получили дальнейшее развитие идеи, высказанные на симпозиуме.

На втором этапе международного сотрудничества объект исследования был расширен за счет включения иных, не только словообразовательного, уровней языковой системы. Несколько изменилась, таким образом, и общая целевая установка авторов труда: в их задачи входило показать преимущества, которые дает применение сопоставительного метода при изучении языковой системы в целом, ее различных уровней. При этом внимание сосредоточивалось на освещении основных теоретических и методологических вопросов.

Реализацией указанного замысла явится итоговая коллективная монография «Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков», которая будет включать два тесно взаимосвязанных и подчиненных единой целевой установке труда (с публикацией одного из них в Москве, а другого — в Варшаве). Подготовка монографии будет осуществляться объединенными силами международной редколлекции, включающей национальных координаторов от стран-участниц ЦП. По характеру проблематики труд, издаваемый в ПНР, будет включать статьи, посвященные общим вопросам сопоставительного изучения славянских языков, а также синтаксическую проблематику. Соответственно московский труд будет преимущественно ориентирован на сопоставительное изучение других языковых уровней, в частности, лексики, словообразования, морфологии и т. п.

6—8 декабря 1988 г. в рамках данного ЦП в Яблонне под Варшавой состоялась Международная научная конференция «Теория и методология сопоставительного изучения славянских языков», организацию и проведение которой любезно взял на себя Институт славяноведения ПАН. Основное ядро участников конференции составили авторы будущей коллективной монографии, получившие благодаря этому научному мероприятию возможность обсудить концепции своих статей, услышать о них профессиональное суждение коллег. В целом на конференции было заслушано 25 докладов, в том числе 10 — от ПНР, 8 — от СССР, 3 — от НРБ и 3 — от ЧССР. От Института славяноведения и балканистики АН СССР в состав делегации входили: Р. В. Булатова, В. А. Дыбо, Г. П. Нецименко, А. М. Осипова. Помимо этого, по приглашению польской стороны с докладами выступили А. Е. Супрун (Минск), Т. И. Вендина и А. Н. Тихонов (Москва), В. С. Храковский (Ленинград).

Конференция была прекрасно организована. Огромная заслуга в этом принадлежит национальному координатору от ПНР д-ру З. Е. Рудник-Карватовой. Атмосферу дружелюбия и гостеприимства создавали и другие коллеги из Института славяноведения ПАН.

По замыслу устроителей программа конференции (кстати, своевременно разосланная ее участникам, что немало способствовало деловому ходу дискуссии) включала компактные тематические блоки докладов, завершавшиеся дискуссией. Не имея возможности подробно анализировать здесь содержание докладов, остановимся на краткой характеристике отдельных тематических блоков.

¹ Информативный материал о ходе симпозиума был опубликован в ряде советских и зарубежных журналов, в том числе в журнале «Советское славяноведение», 1986, № 1.

Вопросы общетеоретического характера (без строгой привязанности к какому-то конкретному языковому уровню) рассматривались в двух докладах исследователей из Болгарии: Д. Станишевой — «Проблема эквивалентности при сопоставительном изучении языков» и М. Ивановой-Станковой — «Дифференциальная типология и контрастивные исследования близкородственных языков». Проблема эквивалентности принадлежит к числу ключевых вопросов сопоставительного языкознания. Неслучайно она привлекла внимание не только докладчика (см., в частности, разграничение различных типов эквивалентности), но и многих участников дискуссии.

Лексическим материалом оперировали в своих докладах А. Е. Супрун — «Теоретические проблемы сопоставительного исследования лексики славянских языков» (в докладе, помимо прочего, также рассматривалась проблема эквивалентности текстов), О. Мартинцова (ЧССР) — «Неологические процессы в свете ономаσιологической типологии современных славянских языков», в котором в новом ракурсе рассматриваются лексические пополнения современных славянских языков. Сюда же относится доклад Н. Савицкого в соавторстве с Р. Шишковой (ЧССР) — «Методологические проблемы сопоставительного изучения динамики словарного состава славянских языков», в котором акцентируется значимость изучения языковой динамики, невозможность ограничения при сопоставительном исследовании лишь синхронным ракурсом, рассматривается специфика словотворческих процессов в различных лексических пластах, например, в специальной терминологии, в экспрессивной лексике и т. д. Следует отметить, что проблема синхронии и диахронии при сопоставительном изучении находилась в поле зрения и других выступавших (например, В. Косеской, ПНР), активно обсуждалась она и в дискуссии, особенно в связи с докладом В. А. Дыбо (см. ниже).

Проблемы ономастики были рассмотрены Е. Жетельской-Фелешко (ПНР) — «Проблематика сопоставительных исследований в топонимике».

Большим количеством докладов был представлен словообразовательный тематический блок, включающий как доклады общесловообразовательной проблематики, так и посвященные теоретическим и методологическим проблемам, актуальным при рассмотрении именного и глагольного словообразования, отдельных фрагментов деривационной системы. К первым относится доклад Ю. Балтовой (НРБ) — «Аспекты и теоретические вопросы сопоставительно-типологического изучения словообразования в славянских языках» и А. Н. Тихонова — «Вопросы сопоставительного изучения словообразовательных гнезд в восточнославянских языках», где уделяется внимание важным вопросам, касающимся направленности словообразовательного описания (в частности, от содержания к форме), различных ракурсов обобщения деривационного материала, систематизации словообразовательных цепочек и т. п. Сюда же примыкает и доклад Т. И. Вендиной «Семантическая функция суффикса в аспекте сопоставительного изучения славянских языков», в котором автор делает попытку разграничения понятий «функция» и «значение». Ко второй группе принадлежат доклады Г. П. Нецименко, М. А. Осиповой, З. Е. Рудник-Карватовой и В. Айсмана (Австрия). В центре внимания доклада Г. П. Нецименко «Проблемы сопоставительного изучения именного словообразования» находится оппозиция «центр — периферия» и ее значимость для описания словообразовательной категории как особого вида системы. Отметим, что эта проблема в силу своей актуальности затрагивалась и в ряде других выступлений (например, О. Мартинцовой), поднималась она и в дискуссии, в частности, А. Н. Тихоновым и некоторыми другими учеными. Впрочем, в ходе обсуждения проблемы Д. Станишева подвергла сомнению целесообразность использования этой оппозиции. Проблематика глагольного словообразования явилась предметом рассмотрения в двух докладах: М. А. Осиповой — «Словообразование и морфемное членение слова в свете сопоставительного изучения славянских языков» (с учетом аспектов морфемной адаптации заимствований в принимающем языке) и З. Е. Рудник-Карватовой — «Глагольная префиксация в сопоставительном аспекте»,

содержащем интересную интерпретацию ряда важных деривационных процессов. Доклад В. Айсмана был посвящен анализу типов бессоюзных сложных существительных в русском языке и их соответствиям в южнославянских языках (ср. обозначения типа русск. *бой-баба*, *генерал-лейтенант* и т. п.). Следует, впрочем, отметить, что некоторые интерпретации, предложенные автором, в дискуссии были подвергнуты сомнению.

Два доклада советских авторов были посвящены акцентологической проблематике: Р. В. Булатовой и Г. И. Замятиной — «Общее и специфическое в механизме построения акцентных систем суффиксальных имен в сербско-хорватском и словенском языках», В. А. Дыбо и С. Л. Николаева — «О возможности акцентологической классификации праславянских диалектов». Оба доклада были выслушаны с большим интересом. Следует отметить, что советская акцентологическая школа занимает приоритетное положение в современной лингвистике. Развернувшаяся дискуссия в основном касалась возможности применения диахронического подхода при сопоставительном изучении. Сомнения по этому поводу высказала, в частности, В. Косеска; другие участники дискуссии, например, Н. Савицкий, Г. П. Нещименко и автор доклада В. А. Дыбо, допускают применение и диахронического подхода.

Репрезентативным был блок докладов, посвященных сопоставительному изучению различных морфологических, синтаксических, семантико-синтаксических категорий. К их числу относятся следующие доклады: В. Косеской — «Язык-посредник и сопоставительные исследования (на материале анализа категории определенности-неопределенности)», рассматривающий одну из ключевых проблем сопоставительного изучения — определение метаязыка, языка-посредника, являющегося своего рода основанием для сравнения; И. Миндак (ПНР) — «О целесообразности учета данных анализа неиндоевропейских языков в исследованиях по славистике» (исследование выполнялось на материале категорий одушевленности — агентности с привлечением, в частности, данных языков австралийских, тюркских); В. С. Храковского в соавторстве с Л. А. Бирюлиным (СССР) — «Принцип типологического изучения грамматических категорий в славянских языках» (предметом исследования являлась категория императива). Освещению словоизменительной проблематики был посвящен доклад И. Марыняк (ПНР) — «Некоторые проблемы описания склонения и спряжения в „Русско-польской грамматике“». Опыт сопоставительного описания числительных представлен Я. Зенюковой (ПНР) — «Из опыта интерпретации языковых категорий в польском и верхнелужицком языках. Лексико-морфологическая категория числительных». В докладе А. Кернера (ПНР) была рассмотрена проблематика описания категории рода при сопоставительном изучении польского и болгарского языков. К этому же тематическому блоку примыкают и такие доклады польских ученых, как «Проблемы сопоставительного описания семантических и синтаксических особенностей болгарского и польского глагола» (М. Корытковска), «О сопоставительном изучении семантических категорий с разной степенью морфологизации» (М. Шиманьски). Важный фрагмент сопоставительного изучения синтаксиса представлен в докладе Г. Беличевой (ЧССР) — «К сопоставительному изучению коммуникативных типов предложения в славянских литературных языках», тесно примыкающем к предшествующим исследованиям автора. В докладе двух польских авторов З. Грени и Д. Рытель-Куц — «Использование опыта художественного перевода в работе над двуязычным валентным словарем» отражены некоторые наблюдения, к которым пришли ученые, работая над составлением польско-чешского валентного словаря; особое внимание было уделено проявлениям аналитичности и синтетичности в обоих языках, в частности, делается предварительный вывод о большей аналитичности польского языка. Данный вопрос дебатировался в ходе дискуссии.

Как можно видеть даже из этого весьма краткого обзора, в заслушанных на конференции докладах были затронуты важные вопросы сопоставительного изучения славянских языков. Следует подчеркнуть, что высокий уровень докладов, глубина теоретического осмысления языкового материала,

основательность и аргументированность выводов являются сильной стороной конференции. Не менее впечатляющим был и характер развернувшейся дискуссии. Без преувеличения можно сказать, что все доклады стали предметом делового, чуждого комплиментарности обсуждения. Ход дискуссии, несомненно, свидетельствовал о высоком профессионализме ее участников, их общей заинтересованности в успехе общего дела. Хотелось бы также подчеркнуть, что на всех членов советской делегации произвели большое впечатление масштабность и многожанровость сопоставительного изучения, осуществляемого в Институте славяноведения ПАН, включающего как отдельные исследования, так и более капитальные издания типа словарей, грамматик и т. п. Чувство признательности вызывает гостеприимство и радушие польских коллег, сделавших пребывание в Польше приятным и полезным.

Во время конференции в ПНР состоялись рабочие совещания национальных координаторов по выполнению ЦП, на которых обсуждались как научно-организационные вопросы по теме, завершаемой в текущей пятилетке, так и перспективы дальнейших совместных исследований на многосторонней основе. По мнению членов авторского коллектива, а также всех участников конференции в процессе сотрудничества сформировался творческий, работоспособный коллектив единомышленников, имеющий опыт совместного решения важных научных проблем большого теоретического и практического значения. В связи с этим было высказано желание продолжить в будущем совместное изучение новой актуальной проблематики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. Тезисы Международного симпозиума (декабрь 1984 г.). М., 1984.



КАБАКОВА Г. И.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ БАЛКАНСКИХ НАРОДОВ

В 1986 г. в парижском издательстве «Пайо» вышла монография И. Андрееско и М. Баку «Умереть под сенью Карпат» [1] — результат 15 экспедиций авторов в 1976—1985 гг. в Олteniю — важнейшую этнографическую зону Румынии. Это самое полное исследование похоронного ритуала и связанных с ним мифологических представлений румын после фундаментального свода материалов, опубликованного С. Ф. Марианом в 1892 г. («Похороны у румын»). Создается впечатление, что крупнейший румынский фольклорист, описавший столетие тому назад чуть ли не все стороны традиционной духовной жизни своего народа (свадьба, обряды, связанные с рождением, похороны, зимние и весенние календарные праздники, мифология, народная «орнитология» и др.), большие корпусы текстов, а также его младший современник Т. Памфиле, доделавший то, что не успел сделать Мариан (календарные праздники лета и осени, народное земледелие, мифология), словно бы лишили своих будущих коллег возможности возвращаться к комплексному изучению данных разделов народной культуры, оставив им право либо разрабатывать отдельные узкие участки, либо предлагать новые интерпретации. В данном отношении ситуация румынской фольклористики и этнографии поистине уникальна (упомянем еще и неисчерпаемые богатства архивов Б. П. Хашдеу и Н. Денсушану): ни одна другая национальная школа не располагает столь тщательно и подробно собранным и систематизированным материалом. Не менее уникально и состояние самого объекта исследования — народной культуры, упорно сопротивляющейся наступлению индустриальной цивилизации, нивелирующей всякую национальную специфику.

Именно эти два обстоятельства и повлияли на выбор синхронно-диахронического аспекта изучения, при котором современный срез сопоставляется с данными, относящимися к концу прошлого века. Двойственное положение авторов предопределило как очевидные достоинства книги, так и некоторые формальные сложности. Во-первых, исследовательницы, в особенности И. Андрееско, были сами воспитаны этой культурой, а получив социологическое образование в Париже и защитив диссертации по социальной и исторической антропологии (И. Андрееско) и средневековой литературе (М. Баку), освоили научный инструментарий французской школы антропологии. Таким образом, полевой эмпирический материал преломляется у них сразу через две призмы — научного анализа и западноевропейского культурного опыта, что несколько не деформирует сам материал, а скорее придает ему новое измерение. Во-вторых, авторов не стесняли априорные методологические установки, и по сей день бытующие не только в румынской, но, увы, и в отечественной, этнографии, деклари-

Кабакова Галина Ильинична — младший научный сотрудник Государственной библиотеки иностранной литературы.

рующие исчезновение традиционных обрядов и представлений, выхолащивание смысла или — больше того — наполнение их каким-то неведомым социалистическим содержанием. С другой стороны, не желая создавать лишней сложностей своим информантам, исследовательницы отказались от упоминания не только их имен, но и сел, что снизило «академичность» монографии (в ней немного сносок, библиография исчерпывается лишь самыми основными работами), но в то же время привлекло достаточно широкий круг читателей (рецензии на книгу появились не только в специальных изданиях, но и во всех крупнейших газетах).

Интерес этот, думается, вызван прежде всего темой. В западноевропейской, прежде всего французской традиции, смерти уделяется исключительное внимание; практически ежегодно во Франции появляются новые работы по этой теме, написанные с разных позиций — культурологической, социологической, антропологической, этнографической и т. п. Благодаря столь обширной библиографии предмета становится ясно, что со временем смерть все более отодвигается в сторону «зоны умолчания». Исследователи сходятся в том, что по отношению к ней возможны лишь три подхода — медицинский, «научный» и личностный. В более традиционном румынском обществе смерть не стала исключительно проблемой индивидуума, она по-прежнему связующее (а не крайнее) звено между миром живых и миром мертвых; ответственность за правильный переход и адаптацию в потустороннем мире все еще разделяется всем коллективом. Так что смерть — дело не только и не столько личное, а в большей степени общественное: через нее индивид, даже значительно оторвавшийся от коллектива (например, партийный функционер или просто горожанин), имеет возможность вновь с ним воссоединиться. Так, старики или больные предпочитают вернуться умирать в родное село или завещают похоронить себя (или перезахоронить через семь лет) на родном кладбище.

Вообще соотношение индивидуального и коллективного опыта, способности преобразования одного в другой проанализированы в книге достаточно подробно и с разных точек зрения. Один из интереснейших разделов посвящен трансформации индивидуального сновидения в устойчивый жанр «сна о смерти». Процесс, однако, на этом не завершается, поскольку прозреваемая в снах потусторонняя реальность диктует необходимое ритуальное поведение (приношения). Так что сны — прежде всего существенный источник разнообразной информации о путешествии души, географии «того света». (Отметим попутно, что в славянской традиции ближайшая аналогия — так называемые «обмирания» — видения, посещающие человека во время летаргического сна.)

Наиболее яркая черта румынской мифологии — детальное описание трудного и долгого пути на тот свет, в котором душу сопровождает либо ангел, либо дьявол в зависимости от того, каких поступков — добрых или злых — больше в ее послужном списке (этот список действительно иногда фигурирует в похоронной обрядности). На ее пути встают по-разному описываемые «небесные таможи» (восходящие к соответствующим представлениям манихейцев): «железные ворота», «посты на дорогах», чаще — лестницы или мосты, но в любом случае их преодоление требует определенной мзды.

Народнохристианские представления о загробном ландшафте строятся на основе семиотических оппозиций верх / низ, снаружи / внутри, правый / левый. Рай (или точнее, Добро) описывается как высокая гора с покатыми склонами, верх которой занимают те, кто успешно справился с испытаниями на «таможнях», менее удачливые располагаются ниже, «провалившиеся» же на «досмотрах» довольствуются жизнью внизу — в ущельях или котлованах, напоминающих перевернутую гору, где царит сумрак. Их судьба — не покладая рук углублять пропасть, уходящую в самый центр земли.

Авторы констатируют, что взгляды на потусторонний мир в наибольшей степени подверглись изменениям. Более молодые информанты представляют тот свет как не прямое отражение посюстороннего мира: современный ад видится им как бесконечное скопление типовых домов, суще-

ственно отличающихся от реальных лишь отсутствием крыш. Это также и мир бесчисленного множества одиноких и разобщенных душ.

Безусловно ценны страницы, посвященные подготовке к смерти. Подготовка эта становится едва ли не смыслоорганизующим стержнем всей жизни. Не смерть страшна, а мысль, что смерть застанет врасплох. Однако при многочисленных гаданиях вопрошают не о том, когда она придет, а о том, какой она будет. А потому приготовлениям отдаются не только душевные силы, время, но и значительные средства: приданое покойного должно сегодня состоять из весьма дорогостоящих, а главное — дефицитных, желательных импортных вещей. Румынская традиция требует не только снабдить покойника всем необходимым для загробного путешествия, но и выстроить миниатюрный домик на столбе у будущей могилы, так называемый «домик души», оборудовать его как настоящий. Но и этого мало. Зачастую устраиваются генеральные репетиции похорон и поминок (отличающиеся от реальных разве что отсутствием попа), дабы проследить, чтобы все было «как следует».

Существенно изменились и функции поминального обеда. Если прежде он исчерпывался двумя блюдами и скромной выпивкой, чтобы душе было что поесть и выпить в пути, то нынешние поминки по размаху не уступают свадьбе, а то и превосходят ее. Главная ритуальная цель — поминовение души покойного, сейчас важнее — произвести впечатление, перещеголять всех богатством стола, числом гостей (на поминки в отличие от свадьбы может прийти кто угодно, без приглашения).

Последняя глава — о персонажах разной степени «мифологичности», имеющих отношение к похоронам, — вампирах, Зорях, Урситоарах. Наиболее интересными представляются сведения о шаманах или «улетающих с ветром», чья функция — выяснение причин и обстоятельств смерти. К их помощи прибегают всякий раз, когда кончина кажется загадочной, подозрительной. Насколько нам известно, этот тип ворожей практически не описан в этнографической литературе.

Как же объясняют авторы столь специфическое развитие данного обрядового комплекса? Гипертрофию идеи смерти они связывают прежде всего с двумя обстоятельствами. Во-первых, с тяжелым социально-экономическим положением страны, лишаящим людей уверенности в завтрашнем дне. Ценностям жизни, становящейся хуже изо дня в день, предпочитают стабильные, вечные ценности смерти. Во-вторых, приближение к концу тысячелетия усилило апокалиптические настроения. Страх перед наступлением конца света сменился убеждением, что конец света уже наступил, Антихрист воцарился.

Думается, обе мотивировки справедливы. Но хотелось бы высказать и свое собственное предположение, что уникальный менталитет, описанный И. Андрееско и М. Баку, сформировался в некотором смысле как антитеза государственной идеологии, отрицающей саму мысль о смерти, болезни, физическом недуге. С приходом царства вечной молодости смерть отменяется сама собой. К сожалению, идеологии трудно отменить законы биологии, а раз так, то изгнанная из официальной картины мира смерть становится центром народной космогонии, подчиняя себе все.

Начиная с 1986 г. под эгидой Института социологии при Вольном университете Брюсселя проводятся ежегодные Дни сравнительной европейской этнографии. Материалы конференций, организованных во многом благодаря энергии и предпринимчивости профессора Марианны Мениль, публикуются в специальных выпусках журнала «Сивилизасьон» [2—3]. Перед участниками из Франции, Бельгии, Италии, Болгарии, приехавшими на первую конференцию, был поставлен вопрос «Как становятся повитухами?» (по-французски он соотнесен с известной цитатой из Вольтера «Как девицы обретают разум?»), тема второй формулировалась так: «Мир, откуда приходят дети». Доклады были основаны, как правило, на европейском — балканском и романском — материале, но для расширения перспектив сравнительных исследований были приглашены и специалисты по этнографии народов Азии, Африки, Америки.

Итак, на двух первых конференциях обсуждались темы достаточно

близкие. Естественно, что задачи, а следовательно, и подходы у участников были достаточно различными — от аналитической характеристики одной национальной традиции до беглого очерка европейских представлений о происхождении человека от Ромула до наших дней.

Один из существенных аспектов изучения родильных обрядов — сопоставление с другим «обрядом перехода» — похоронами. В какой-то мере структуры их зеркальны, разве что направления движения противоположны. Если картина потустороннего мира предков выглядит довольно пестро (см. монографию И. Андрееско и М. Баку), то и мир неродившихся детей мыслится по-разному, чаще всего, однако, он локализуется внизу — в земле или воде (ср. в этой связи концепцию Платона о чередовании двух фаз — Зевса и Хроноса, во второй фазе люди размножаются внеполовым путем, спорами, точно грибы, вырастая из-под земли, причем время человеческой жизни движется вспять: рождаясь стариками, они с годами молодеют, пока не уходят назад под землю; К. Геньбе — «С удочкой за детьми») [3, р. 35—42]. Связь между мирами осуществляется в первую очередь повитухой, но также и аистом, живущим на «краю света» и приносящим оттуда младенцев. Следы пересечения границы двух миров видны, например, в болгарском ритуальном диалоге повивальной бабки и роженицы: «Где ты идешь?» — «Иду по воде».

В греческой традиции роды становятся «моментом истины» (как и смерть), исход их зависит от того, как была прожита жизнь, по их тяжести судят о грехах роженицы, что не исключает, впрочем, и возможности злых козней (И. де Сике — «Новая мудрость женщин») [2, р. 123—124].

Как приход в этот мир, так и уход должны быть облегчены всеми способами — прежде всего развязыванием узлов, размыканием замков, распахованием окон и дверей. И при похоронах, и при родах занавешивают зеркала. Один из важных моментов обоих обрядов — ритуальное омовение роженицы, ребенка (иногда и повитухи) или покойника. Показательно, что у балканских народов и родильный, и похоронный циклы продолжаютя сорок дней.

Общая черта поворожденного и мертвеца — отсутствие имени, поэтому имянаречение становится в «социализации» ребенка центральным ритуалом, главным исполнителем которого выступает повитуха, либо крестный отец. Но это не единственный ритуал включения младенца в культуру. У сербов повивальная бабка пронесит ребенка над огнем, у болгар, греков посыпает солью, кофе или ароматическими смесями.

Особая судьба ждет тех, кто не справился с переходом, — мертворожденного ребенка, роженицу, умершую родами, покойника, которого похоронили с нарушением ритуала. Тот мир их не принимает, они не попадают в разряд почитаемых покойников, а превращаются в нечистую силу, отравляющую жизнь близким. Поэтому в похоронный церемониал этих заложных покойников вводятся элементы «социализации» — крещение детей (ср. также посмертную свадьбу девушки), используются разного рода апотропеи. С другой стороны, чудом избежавшие смерти, т. е. дважды родившиеся, считаются счастливыми и им в будущем уготована почетная роль главарей в календарных обходах колядовщиков, кукеров (И. Георгиева — «Взгляды на ребенка в болгарской традиции» [3, р. 43—54], — И. де Рунц «Повитуха. Демоны рождения и хлебцы мертвым (Сербия)») [2, р. 99—122].

А. Попова («Несколько этнолингвистических размышлений о болгарской „бабе“») [2, р. 87—98], исследовав лексические значения ключевого термина, его производных и синонимов, показала, что в болгарской традиции женщины, утратившие способность к деторождению (как и девушки, еще не успевшие ее приобрести), играют центральную роль в магии и ведовстве. С этим докладом перекликается выступление К. Карну «Помогать при родах или преемственность предков», где на примере румынской *moaşă* 'повитуха' (при *moşi* 'предки') доказывалось, что в фигуре повивальной бабки соединяются две важнейшие функции — родовспоможение и обеспечение преемственности рода, а новорожденный мыслится прежде всего не как отпрыск своих родителей, а как потенциальный предок.

Функции повивальной бабки не заканчиваются помощью при родах и участием в родильных обрядах. Они начинаются иногда значительно раньше — при первых признаках беременности — и продолжаются и после родин — во врачевании, на других этапах человеческой жизни, например, на свадьбе. Этому способствует ее пограничное положение между женским миром и миром мужчин, человеческим пространством и мифологическим. Их чествование в Греции, Болгарии, Румынии 8 января — это одновременно и праздник женского начала, женской плодovitости.

Весьма специфической на этом фоне представляется фигура венгерской повитухи-колдуньи (*bábaboszorkány*). В отличие от своих «коллег» в юго-восточной Европе, она обретает «мудрость» и «знания» не с возрастом, не с утратой прокреативных функций, а через жертвоприношение: пожрав собственного отпрыска или кого-нибудь из своих родственников. Многие ее злокозненные действия (подмена ребенка, кража молока у рожениц, коров, похищение кости из тела спящего человека, ночные скачки верхом на мужчинах, превращение людей в животных) сближают ее с другим мифологическим персонажем — шаманом *táltos*, от рождения волосатым, с лишней костью в теле, живущим 21 год и всю жизнь питающимся только молоком, — над ним повитуха имеет неограниченную власть. Таким образом, в венгерской традиции повитуха, чье участие в родах считается и необходимым, и в то же время опасным, более принадлежит миру мифологическому (А. Лозонч — «От повитухи к колдунье: *bábaszorkány* в венгерских народных верованиях») [2, р. 149—171].

Другой важный аспект изучения родильных обрядов и представлений — исследование их перекодировки на вегетативный код. Этому было целиком посвящено выступление И. де Рунд «Женщины-растения и дети-плоды (плоды и плодовые деревья в сербских народных воззрениях на зачатие)» [3, р. 87—102], где параллелизм жизни человека и дерева прослеживается как на уровне обрядов (календарных, родильных, свадебных, похоронных), так и на уровне терминологии (семантическое поле *плод-род*).

Весьма существенным для дальнейших сравнительно-типологических исследований нам кажется анализ семантики и брачно-прокреативной символики капусты во французской традиции (Ж. Бонне — «Родиться в капусте») [3, р. 103—118]. В целом большой интерес к этноботанике, фокусирующей проблематику столь существенных областей традиционной культуры, как мифология, семейные и календарные обряды, народная медицина, виден и в ряде других работ, представленных на конференциях: «Некоторые аспекты акушерской этноботаники в европейских традициях» М. Ле Кура [2, р. 135—144], «Ветер, приносящий безумие. Сбор трав на св. Георгия и Иоанна Крестителя» М. Мениль [2, р. 325—348], «Ученое знание и первобытное мышление и их отражение в ботанической номенклатуре Европы» Р. Зеброка [2, р. 349—364]. Неудивительно, что последний, третий по счету, симпозиум был целиком посвящен этноботанике (материалы его пока еще не опубликованы).

Среди докладов, прочитанных на Днях сравнительной европейской этнографии 1987 г., особо выделяется «Рождение драконов» А. Поповой [3, р. 55—86]. Проанализировав недавние румынские записи о битве змей, их волшебном «бесценном камне», поверье о том, что овладевшая им змея превращается в Змея, исследовательница приходит к выводу, что начало этой вереницы событий относится к 9 марта, а все последующие метаморфозы разворачиваются в течение 40 дней. На этот период, открывающийся праздником Сорока Мучеников, приходится также встреча птиц и изготвление соответствующих орнитоморфных печений, к марту-апрелю приурочена и легенда о «заемных» или «старухиных днях». Учитывая, что у южных славян 9 марта называется Младенцами, можно предположить, что дата нарoждения драконов совпадает с идеальной датой рождения детей, при этом оптимальное зачатие относится к дню летнего солнцестояния.

С одной стороны, сведения о праздновании крестьянских свадеб в Европе вроде бы опровергают эту дату — обычно браки заключались по

окончании или до начала сельскохозяйственного сезона, т. е. осенью или весной. Однако есть и доводы в пользу этой концепции. Так, в монографии Т. Бернштам [4] о роли молодежи в народной традиции на русском материале показана изоморфность психо-физического состояния человеческого организма (прежде всего женского) и календарного цикла, при этом пик биологического развития приходится как раз на Иванов день. Так что оригинальное сообщение А. Поповой, сопрягающее координаты мифологического, биологического и календарного времени, при привлечении дополнительных аргументов, безусловно, может продвинуть нас в понимании взаимосвязей между различными феноменами культуры балканских народов.

Оба выпуска журнала снабжены обширной библиографией работ по европейской этнографии, вышедших в 1980-е годы. Обидно, что советская наука представлена несколькими совершенно случайными позициями, как обидно и то, что в этом серьезном научном форуме советские ученые участия не принимали. Остается надеяться, что это положение будет исправлено, и в следующих симпозиумах выступят не только специалисты по западным и восточным славянам, но и ученые из германских стран.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Anreesco I., Bacou M.* Mourir à l'ombre des Carpathes. Paris, 1986, 237 p.
2. *Civilisations*, 1986, V. 36, № 1—2, 499 p.
3. *Civilisations*, 1988, V. 37, № 2, 344 p.
4. *Бернштам Т.* Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX — начала XX в. Л., 1988.



НЕМИРОВСКИЙ Е. Л.

ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ В МОНАСТЫРСКИХ БИБЛИОТЕКАХ ЧЕРНОГОРИИ И СЕРБИИ

Первая полная печатная славянская Библия, выпущенная в 1581 г. великим русским просветителем Иваном Федоровым (ок. 1510—1583) в волынском городе Остроге, была широко известна на землях южных славян. В 1980 г. мы описали шесть экземпляров этого знаменитого издания, находящихся в библиотеках Сербии и Воеводины [1, с. 98—103], отметив тогда, что по публикациям известны три экземпляра Острожской Библии, находящиеся в монастырских библиотеках Черногории — два в монастыре Пива и один — в монастыре Морача. Об этих экземплярах упомянул в 1963 г. Н. С. Мартинович [2]. Сколько-нибудь подробные описания этих книг, однако, опубликованы не были. Нам удалось познакомиться с ними в октябре 1987 г. во время поездки по черногорским монастырям, организованной Центральной народной библиотекой им. Джурджа Црноевича.

Монастырь Успения Богородицы, или Пива — по названию реки, близ которой он стоит. На реке в настоящее время построена гидроэлектростанция. Место, где издавна был монастырь, оказалось под водой. Но перед затоплением храм, построенный в 1573—1586 гг., разобрали и перенесли, вместе с окружающими его строениями, на близлежащую возвышенность.

Оба экземпляра (№ 30 и 36) Острожской Библии хорошо сохранились. В первом из них — выходной лист с датой 12 июля 1580 г., во втором — с датой 12 августа 1581 г. Тем не менее, речь, как известно, идет не о двух, а об одном и том же издании.

Экземпляр № 36 Острожской Библии находится в монастыре Пива с 1616 г., судя по вкладной записи на листах III об.— IV: «В лето 7124 (=1616) аз протопоп Радуо приложих сию Библију от своего труда оуспешно прес/ве/тие б/огороди/це иже ест/ть/ в Пива да служи [повтор] да служи с/ве/тому монастыру и да нје никому отемлема от сего монастыра. Аще ли кто дръзне отмити ю от сега монастыра, такови да е проклет от господа бога вседръжители и преч/е/стние его м/а/т/е/ре и от тих с/ве/тих о/те/ц... да буде иже реше распни распни от нашего смернија. Амин, амин».

На переплетных листах в начале книги есть владельческая запись 1712 г.: «Сия с/ве/та иж ставна книга Библия монастыру Пиве храм Успение прес/ве/тие б/огороди/це на б/огороди/ци Пиви... 7220 (=1712). Кирил. Стеван Кулон»; в конце — другая: «Сию светую и божественную книгу Библию прочиташ аз смерени Мелетие ермонах пивлянин 1751 года мая 27 дне. Мелетие Еклсар (?)».

Во втором экземпляре Острожской Библии монастыря Пива на переплетных листах есть запись о кончине Калиника, патриарха Печского,

Немировский Евгений Львович, д-р ист. наук, старший научный сотрудник Всесоюзной книжной палаты.

который представился «в лето 7218 (=1710) месеца августа 15». Отметим, что известна запись с указанием другой даты: «Престави се господи́нь патриарх кир Калиник месеца августа 16, лета 1710 у Темишвару» [3, с. 24, № 2212]. Есть еще одна запись о кончине патриарха, в которой, однако, не указана дата. Находится она в рукописи «глаголема Дионисие Ареопагит», которая написана «ва лето 7219 (=1711)» в монастыре Тара «рукою бременю грешнаго Василия дякона Пивца», т. е. постриженника монастыря Пива [3, с. 25, № 2212].

В хорошем состоянии находится и Острожская Библия основанного в 1251—1252 гг. монастыря Успения Богородицы, по реке, на которой он стоит, называемого Морача. Выходной лист этого экземпляра датирован 12 августа 1581 г. Старейшая запись на обороте нижней переплетной крышки книги сделана в 1772 г.: «Сия книга Библия монастыра Мораче, потписах аз грешни и смерени поп Родое Петрович во лета от Христа 1772». Он же подписался и на обороте верхней переплетной крышки: «грешний иерей поп Радое Попов от Косора лета 1772 марта 29».

О трудной судьбе книги рассказывает запись, сделанная на обороте последнего листа Апокалипсиса: «Сия книга зовеми Библия монастыра Мораче и пренесена бист... на Косор на прочитание попу Радовапу Радоничу. И бист лет 20 паки на войщи велику войску силни Мемет паша Бушатлиа и Скадра те поплени и подрара липо брдо куче и разури и из агна по свиету 1774 месеца мая 12 дан ида же войска скадарска. Сию книгу и понесе и божием повелением идахе поп Йово Самарцидих ис Подгорице и откупи сию книгу от рук страцинских и приложи ко с/ве/той обители Морачкой и писа себе сарандар и усопшему брату Цветку сарандар и усопшему брату Стояну сарандар бог га прости».

Вскоре после возвращения Острожской Библии в Морачу ее переплели, о чем написано на обороте верхней крышки: «Сия книга гл/аголе/меа Библия монаст/и/ра Мораче повезах азь грешнии... Филотей».

Вторично книга переплеталась в 1830 г., когда обновлялись многие фолианты монастырской библиотеки. Об этом свидетельствует запись на обрывке бумаги, наклеенном на лист, вклеенный после Книги Иова: «На 1830 септемвра 8-га у манастир Морачу саградисе град при егумне Феодосие и при Димитрием еромонахом и подновише 20 книга церковније рукоу Михаил еромонах Хиландарц» [3, с. 379, № 4079]¹.

И еще одна запись XIX в., она сделана на л. 1 2-го счета: «14 Nov. 1889 при доласку г. митрополита Митрофана гдје служиста у Светој Лаври ... преписах редна листа. Протоѳакон Филип Радичевић».

Сделавший эту запись Филип Радичевич (1839—1917) [4] был секретарем митрополита и обычно сопровождал его в поездках по монастырям. Одно время он учительствовал в Цетинье. В 1872 г. он издал в Белграде сборник народных песен «Гусле црногорске». Радичевич интересовался историей книгопечатания. В монастыре Морача он обнаружил экземпляр первой черногорской печатной книги Октоиха первогласника 1494 г., который был выставлен в Цетинье в 1893 г., когда отмечалось 400-летие типографии Джурджа Црноевича. Запись об этом событии, сделанная на страницах книги Ф. Радичевичем 17 мая 1894 г., сохранилась на экземпляре Октоиха, который и сегодня находится в Мораче [5] и был описан Ф. Радичевичем [6].

Последняя запись, сделанная в начале XX в., представляет интерес для черногорско-украинских культурных связей. Сделана она на листе, вклеенном после Книги Иова: «Сия света книга есть „Острожска Библия“, коя ее издаде иждивением сребра и повелением Константина Василиа Константиновича князя Острога града, воеводы Киевскаго, старости Владимира града и маршалка земли Волинския и прочих земель и градов у Малой Руссии повелителя еже биша тогда от Московской великой Руссии отвержени и под иго польскаго краля подпадоше. Бисть тогда велика беда у Малой Руссии рускому народу от латин и польскаго краля и неимаше защитника ерь вси родичи и велики кнези и властелини рус-

¹ Запись опубликована Л. Стояновичем без указания, из какой книги она извлечена.

кие от всеа Малой Русии православле отвертоша и ва латинскую веру преидоша и посему великие гонители народа своего посташе. Един токмо благоверни Константин князь Острожски храняше веру отцев своих и даде клетву у Острогу граду да ее чувати дондеже жив буде и обязи сие всем князем и воеводам и велможам свietским и духовним по всеи Русии и на истоце всем 4-ом патриархом да помогут ему веру сачувати. И много учини добраго за свои народ и веру сеи благоверни князь и даби еще више учинио за веру Христову призва печатника Ивана Федорова от града Москви у свои град Острог и повеле ему печатати сию Библию сиречь книгу свещенаго писания и той напечата ю лета АФПА м/есе/ца августа видне сие есть 1581 године 12 августа м/есе/ца.

Лета 1907-го смотрех его княжи с/вето/го у музеихранилище у граду Житомиру, а летом того же лета видех и град Острог и развалившие дворове княза Константина Константиновича.

Т. Катанич».

Ниже этой записи приклеен листок с вышеприведенной записью 1830 г. Под ним помечено: «Обретох сие важное писание и zde прилепих, Томаш Б. Катанич от Васоевич».

Кто же тот черногорец, который летом 1907 г. побывал в Остроге? Дополнительные сведения о нем мы находим в других книгах монастыря Морачи, на которых Т. Катанич также оставил записи. В рукописном Евангелии 1668 г. на л. 302 он записал: «Прочита стари надпис и ясвије написа по овой страници Томаш Баценов Катанич од Васоевића». В рукописном же апракосном Апостоле XVII в. записано: «Томаш Катанич Обер князь Божицки от Васоевич рожден 1885 лета» (см. [7]).

В работе [1] мы, ссылаясь на опись южносербского монастыря Дечани, оставленную М. Теодорович-Шакоца, отметили, что здесь имеются три Острожские Библии (одна из них с выходом 1580 г.) и «Четвероевангелие Острожского», в котором мы видели Псалтырь и Новый завет 1580 г. [1, с. 100]. В недавнее время рукописи и некоторые печатные книги монастыря Дечани были переданы для реставрации в Народную библиотеку СР Сербии. При этом была опубликована их охранная опись. Здесь упоминаются две «Библии Василия Острожского 1581 г.» и «Четвероевангелие Василия Острожского XVI в.» (см. [8]). Осенью 1987 г. я познакомился с этими книгами.

«Четвероевангелие» оказалось Новым Заветом с Псалтырью 1580 г., напечатанным Иваном Федоровым. Экземпляр некомплектен, в нем сохранились л. 23—261. Переплет: доски в коже с тиснением на корешке и сторонах, медные застежки. На форзаце книги есть запись: «Сия евангелие мне многогрешнаго Феодосие иеромонаха Дечанца 1813 лето». Другая запись Феодосия сохранилась на л. 175 об.

Первый экземпляр (№ 17) Острожской Библии из монастыря Дечани заключен в переплет XIX в. — доски в коже с орнаментальным тиснением. Многих листов (среди них начальный лист с заставкой) в книге нет. Нет и конца: последний лист экземпляра — это л. 180 3-го счета. На обороте последнего листа предисловий — большая сербская запись, датированная 1788 г., на обороте титула — запись 1829 г. О времени переплетения книги свидетельствует запись на л. II об. — III: «Сию божествену книгу глаголема Библия ветх и нови завет даде ю игумен Герасем даю подверзе у моей пазар ... подвеза протопоп Панга 1838 лето».

Во втором экземпляре (№ 18) Острожской Библии монастыря Дечани сохранился титульный лист с записью в нижней части: «Сия книга монастыра Дечани поградихье своим рукоделиемь аз грешник и маньши... всех человек протопрезвитерь Стефан от Нов/а/га Пазар... повезехъ». Многие недостающие листы в книге заменены чистыми. Заканчивается экземпляр л. 72 6-го счета. Выходного листа здесь, как и в первом экземпляре, нет.

Сообщения о новых экземплярах Острожской Библии придется кончить на курьезной ноте. В Черногории есть известный монастырь Острог, основанный в XVII в. св. Василием Острожским [9]. В 1976 г. С. Анто-

ляк опубликовал статью «Существовала ли в Остроге типография 1581 г.?», отвечая на этот вопрос положительно. По его мнению, именно в черногорском монастыре «в 1581 г. была напечатана Библия (или Священное писание), которая переведена на „иллирийский язык“ в семидесятих годах XVI в., а затем перепечатана в Москве в 1663 г., как это сообщается в одном ватиканском кодексе XVIII ст.» [10].

Уже в 1977 г. это мнение опроверг Р. Драгичевич, опубликовавший и фрагмент карты Украины, чтобы наглядно показать читателю, о каком Остроге должна идти речь [11].

Дискуссия, однако, не прекратилась. В последующие годы было опубликовано еще несколько статей, обсуждающих тему, существовала ли в черногорском монастыре Острог типография [12]. Статьи эти несколько с неожиданной стороны пополняют «Федоровиану», насчитывающую не одну тысячу названий.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Немировский Е. Л.* Издания Ивана Федорова в книгохранилищах Сербии и Воеводины. — Советское славяноведение, 1980, № 5.
2. *Мартиновић Н. С.* Стари књижни фонд у Црној Гори. Т. I. Старине Црне Горе. Цетиње, 1963, с. 10.
3. *Стојановић Љ.* Стари српски записи и натписи. Књ. 2. Београд, 1903.
4. *Rasković N.* Prilozi za leksikon crnogorske kulture. Cetinje, 1987, s. 172.
5. *Немировски Е. Л.* Октоих првогласник Ђурђа Црнојевића из 1494. Цетиње, 1987, с. 25, 43.
6. *Радичевић Ф.* Осмогласник Ђурђа Црнојевића у манастиру Морачи. Просвјета, 1890, св. 1—2, с. 33—34.
7. *Мошин В.* Бирилски рукописи Морачког манастира. — Историјски записи, 1960, књ. 17, с. 560, 563.
8. *Станковић Р.* Извештај са служебних путовања у манастир Високе Дечане. — Археографски прилози, књ. 8, 1986, с. 186.
9. *Михайловић Б.* Манастир Острог и св. Василије Острошки. Цетиње, 1980.
10. *Антољак С.* Да ли је у Острогу постојала штампарија 1581 г.? Историјски записи, књ. 33, бр. 1, 1976, с. 63.
11. *Драгичевић Р.* Острошка штампарија. — Стварање, 1977, Св. I, с. 139—144.
12. *Бркић.* Да ли је у Острогу постојала штампарија? — Весник (Београд), 1981, № 689, с. 4; *К'овачевић/ Б.* У нашем манастиру Острогу није постојала штампарија. Весник (Београд), 1981, № 690, с. 12.



С ПОЛЬСКОГО НА СЛАВЯНО-РУССКИЙ (К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА «CARMINUM VARIORUM» СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО)

Вышел новый сборник стихотворений Симеона Полоцкого [1], в который включены его белорусо- и полоноязычные вирши. В частности, опубликованы произведения из сборника «Carmina varia»: польские оригиналы, сопровождаемые дословными прозаическими переводами на современный русский язык. Для дальнейших изданий предполагается целесообразность стихотворных переводов, причем не на современный язык (такое было бы правомерно лишь в том случае, если бы у нас сложилась традиция и церковнославянские вирши Симеона переводить на современный русский, но это не принято), а на церковнославянский, или славяно-русский язык XVII в., чтобы такие переводы естественно соседствовали — в пределах одной книги — с церковнославянскими стихами, скажем, «Рифмологиона» или «Вертограда многоцветного». Аналогичным образом перед белорусскими коллегами могла бы возникнуть проблема перевода польских стихов Симеона на старобелорусский язык XVII в. — ради столь же естественного их соседства с его ранними виршами белорусского периода; но этот вопрос уже вне нашей компетенции, и мы его обойдем.

Имитации «глубокословных славенщизны» иногда применяются в литературных подделках, подражаниях, стилизациях, пародиях на древнерусских авторов. Чаще в шутку, чем всерьез, и подчас даже без попыток сделать это квалифицированно. Известна пародия А. М. Финкеля: «Жил был у бабушки серенький козлик» якобы в интерпретации Симеона Полоцкого [2]. Это текст немислимый и в грамматическом и в версификационном отношении. «Старуха... козлови брадата... любяша» (??) — таковы там именные и глагольные формы. Под стать им и стиховые: вместо ожидаемой силлабики и требуемого изосиллабизма — полный беспорядок в слогаисчислении. Симеон ничего похожего на это написать, конечно, не мог. О шуточном стихотворении Финкеля можно было бы и не упоминать, но оно удачно оттеняет то, чего решительно не должно быть в переводах на славяно-русский, о каковых идет речь. Они тоже должны имитировать «славенщизну». Однако в них любая допущенная грамматическая и версификационная неточность — серьезнейший просчет. Переводчику не прощается то, что легко простить пародисту.

В «Советском славяноведении» в статье Л. У. Звонаревой и В. К. Былинина уже публиковалась одна поэма из «Carminum variorum» под названием «Отчаяние короля шведского» [3]: польский текст и дословный прозаический перевод — тот же порядок, какой принят и в упоминавшемся новом издании Симеона. Эта публикация и дала нам изначальный импульс к работе над стихотворным переводом. Подстрочник показался недостаточным в двух отношениях: во-первых, в нем не было архаики, во-вторых — силлабики. Между тем и то и другое, разумеется, прин-

Илюшин Александр Анатольевич — д-р филол. наук, доцент филологического факультета МГУ.

ципально воспроизводимо. А вне того и другого нет Симеона с его поэтическим своеобразием, творческим почерком, стилем. Нет нужды в очередной раз доказывать, что перевод поэзии должен быть стихотворным, эквиметрическим, адекватно воспроизводить стиль поэта. Кажется, подобные истины давно уже стали трюизмами, и дальнейшее теоретизирование в этом духе излишне. Перед нами стоят не общетеоретические, а скорее конкретные и практические задачи. Итак, начало поэмы о шведском короле:

Надеждою живем мы, в надеждах, в надежде
Чинити, яко нами замысленно прежде,
Ан сметает надежду могуща царица
Фортуна, яже всих есть главна владычица.
Заблудивый, надеждой своей завлеченный,
Краль укори форгуну, опоры лишенный...

В этих силлабических 13-сложниках с цезурой после седьмого слога и парными двусложными рифмами обращает на себя внимание то, что они гораздо менее архаичны в сравнении с многими церковнославянскими стихами Симеона. Отчасти — это, может быть, потому, что его старопольский язык ближе к современному польскому, чем его же церковнославянский — к современному русскому, так что и в переводе архаике надлежит быть соответственно умеренной. Но отчасти так получилось еще и потому, что в этой поэме тон задают глагольные формы настоящего времени — не столь экзотические, сколь формы прошедшего времени. В результате текст перевода может казаться «не очень-то» церковнославянским, а лишь слегка стилизованным под «славенщизну»: не глубокая архаика, а некоторый как бы налет архаики. В целом это нежелательный эффект, поскольку в стилизациях есть нечто поверхностное — скорее какое-то заигрывание с языком, чем проникновение в его суть.

Утешительно, что этот нежелательный эффект сказывается не слишком часто, и само по себе преобладание в тексте глагольных форм настоящего времени отнюдь не всегда его проводит. Примеров, подтверждающих это, имеется достаточное количество. Вот один из них.

На пьяницу

Что, жаждный, зриши, егда толь ретиво
Глотаеши всяк день из жбана пиво?
Что ешь во жбане? Захария зряше
Неошутиму снедь — оле прав бяше!
Зане пиющий тамо радость видит,
А станет трезвый — и ю ненавидит.
Иных пьянство в ничто превращает,
На слабость силу, ум на дурь сменяет.
Мудрец провиде змия жестокаго
Во жбане, полном яду вельми злаго.
Что же видиши? Ан не служат очи,
Егда браду из кружки змий злогрешный мочи(т).
Не бошися здравие губити,
Толико абы паки пиво пити.
Аз же глаголю ти добролюбиво:
Смерть сидит в кружках, в меру педи пиво!

Здесь среди 11-сложников с цезурой после пятого слога есть один 13-сложник: «Егда браду из кружки змий злогрешный мочит», соответствующий стиху в оригинале: «Gdy kufle chyliysz, aż się broda ważem toczą» — тоже одинокому 13-сложнику в окружении 11-сложников. Такие версификационные колебания, скорее всего случайные, нетрудно передавать адекватно. В этом же стихе в слове *мочит* взята в скобки буква *т* — как лишняя в рифменном созвучии *очи* — *мочит*; ср. с оригиналом: *oszu* — *toczą*. В польском тексте тут полноценная рифма существительного с глаголом, в переводе — не вполне, но перестраивать из-за этого стихи

было бы нецелесообразно: лучше применить указанный технический прием, с каким встретимся и в дальнейшем.

В переводе имеются слова, которые впервые зафиксированы в словарях лишь в XVIII в.: *жбан* (мотивировано польским *dzban*), *дурь*, *ретиво*. В подобных случаях есть риск обмолвиться лексическим анахронизмом, если нет уверенности, что такое-то слово употреблялось в нашей силлабической поэзии ли вообще в литературе XVII в. Чаще всего переводчик идет на этот риск сознательно, не видя иного возможного и менее опасного решения. Все же подчас не обойтись без известной модернизации текста, хотя и ориентированного на архаику.

Продемонстрируем теперь наиболее «экзотический» в своей архаике перевод — с устаревшими глагольными формами прошедшего времени, двойственного числа и прочими характерными приметами «глубокословных славенцизны». У Симеона это переложение известной притчи Саадд о дедушке с вьюком и осле.

Трудно всим угодити
Старый и малый в путь ся припустиста
И для удобства осла захватиста.
Старый младого хотя ублажати,
И посади, а сам шел близь осляти.
Встречни люди старца обругаша:
«Отжени мальчика, сам сяди!» — возваша.
Седе старый, пещь юнец иде рядом,
Ано реченно бысть неким чадом:
«Воззритеся вси на старца глушаго —
Сам больший едет, томит меньшаго».
Оба пешии дале ся стремиста,
Ано и паки осмеяни быста,
Зане встречни людие браняху:
«Глушици — с ослом, а пешици», — глаголаху.
«Требе обоим нам, — рекоста, — сести,
Да не ругают, — и ехати вместе».
Тако чиниста; людие обаче
Их седших купно обругаша паче.
«Яко чинити нам? Осла носити —
И невозбранни отныне пребыти!».
Яко безумли паки ся казаста,
Егда скотину горе подымаста.
Виждь, человеце: всим не угодиши,
Аще жив еси и дело твориши.

Конструируя подобные тексты, переводчик не обходится без некоторых сомнений и колебаний по поводу грамматики, например, предпочтительнее ли форма сигматического аориста или имперфекта (глаголаша или глаголаху), какое употребить окончание в третьем лице двойственного числа (чинисте или чиниста). Выбор предпочтительного варианта не всегда может казаться убедительным. Но он согласован либо с индивидуальной практикой формоупотребления в церковнославянских стихах Симеона, прежде всего, опубликованных [4], либо с грамматическими подсказками авторитетного в XVII в. Мелетия Смотрицкого [5]. У обоих имеются известные отклонения от классической системы норм старославянского языка — и в той же мере «нарушителем» этих норм имеет право стать современный переводчик польских виршей Симеона.

Мы не вдаемся здесь в лингвистические подробности, в обстоятельное комментирование употребленных грамматических форм. Но один момент в тексте «Трудно всим угодити» нужно специально оговорить. Речь идет о четвертой строке стихотворения: «И посади...». Важно понять, что тут *И* не соединительный союз, а личное местоимение мужского рода третьего лица в винительном падеже — со значением «Его» («Его посади!»); в других же случаях «и» является союзом.

Показанные выше 13- и 11-сложники — наиболее распространенные стихотворные размеры как в польской, так и в русской силлабической поэзии, в частности XVII в. Они привычны, и уже самая эта привычность существенно облегчает задачу их перевода с польского на славяно-русский. Но ими не исчерпывается метрический репертуар Симеона, дегустировавшего многообразные версификационные формы, в их числе и весьма трудные для исполнения. Опробовал он и короткий размер, вернее даже сверхкороткий — 4-сложник, редкостный и требующий особой исполнительской виртуозности, поскольку в нем рифмы возникают «на каждом шагу», примерно через одно слово. Понятно, соответствующие трудности встают и перед переводчиком, стремящимся адекватно передать иноязычный стихотворный текст. Между тем рифмовка в нем не только парная, как в большинстве других виршей, но местами и смежная тройная, что еще более осложняет задачу.

Имеется в виду «Эпитафион», одно из самых трогательных и печальных стихотворений Симеона. Наверное, сверхкороткий размер не казался мастеру ни шуточным, ни легкомысленным (вообще же традициям польского барокко более отвечали надгробные надписи, выдержанные в достаточно длинных размерах). К стати, сам он впоследствии, после смерти, удостоился монументального Эпитафиона, составленного Сильвестром Медведевым в силлабических стихах. Полоноязычная же эпитафия, написанная Симеоном, выглядит совершенно иначе. Вот ее перевод:

Кто zde бежит?	Должно знати,
Виждь: се лежит	Милый брате:
Во сем гробе	В гроб мой малый
Равный тебе,	Зли пищали
По особе	Мя вогнали.
Некто годный,	Ти неложно
Благородный	И набожно
Муж мудрости,	Требе жити,
Набожности	Не блудити,
И благости.	В небо внити.
Се червь точи(т)	Верь всецело:
Его очи	Тленно тело,
И все тело	Дух однако
Рушит смело.	Жив инако —
Худо дело!	В бозе яко.
Смерти гонец	Держи за мя
Такий конец	Креста знамя,
Всім готовит,	Буди за то
Люди ловит	Ти богато —
И неволит.	Вечно свято.

Первый столбец повествует о покойнике в третьем лице. Второй столбец — монолог самого покойника, выдержанный в первом лице. Древние падежные формы личных местоимений (*мя, ти, тебе*), схожие с польскими, способствуют точному воспроизведению метрических и рифменных фигур оригинала: получается, что в данном случае даже удобнее переводить на славяно-русский, чем было бы на современный русский, причем аналогичную помощь оказывают не только местоименные, но и некоторые другие архаические словоформы.

В тексте есть рифмы, которые легко принять за мужские (*бежит — лежит*), за разноударные (*неложно — набожно*) и вообще за перифмы (*мудрости — набожности — благости*), в то время как от Симеона обычно принято ожидать женских рифм. На самом деле разговор о мужских, женских и разноударных рифмах применительно к стихам Симеона беспредметен. Здесь важно то, что эти рифмы — двусложные, и ничего более, т. е. созвучие *бежит — лежит* не нарушает правила, а *бежит — дрожит* нарушило бы, *неложно — набожно* не нарушает, а *отважно — набожно* нарушило бы. В польском оригинале тоже есть рифма, которая выглядит

разноударной: *Upewnia cie — bracie*, и в ней тоже существенно не то, что она разноударная, а то, что она двусложная.

Задачи, которые приходилось решать переводя указанные стихотворения, все же не назовешь головоломками: далеко не предел трудности. Между тем полноязычный Симеон экспериментировал и со сверхтрудными стиховыми формами. Изощреннейшей формой справедливо считается палиндром. У Симеона есть двустишие под названием «*Cancer*» — по латыни «Рак», т. е. «рачы стихи» (так именовались палиндромы, или перевертыши). Вот польский текст этого двустишия:

Co mi ey Maria oto ay gamie y moc
Co wo ney, ow pokoy u okop wojen owoc.

Соблюдая принятые в палиндромах правила игры, почти невозможно не поступиться чем-то другим, остаться на том хорошем уровне мастерства, какой характерен для «нормальных» стихотворений того же автора. Вот и Симеон: на этот раз он не выдержал изосиллабизма и вместо двусложной рифмы применил односложную, а мысль выразил с очевидной натянутостью и искусственностью, подчиняя ее обратимой последовательности букв. Все эти «недостатки» соответственно допустимы и даже необходимы и в переводе, однако же рифмованные палиндромы должны быть неукоснительно соблюдены в славяно-русском тексте:

Дар ми се во Марии: рамо, вес — им рад;
Дар — гои, покои, еще и окоп и оград.

Здесь воспроизведено заявление поэта относительно того, что в Марии для него опора (рамо, плечо) и источник сил (вес), и мир, покой (слово *goi* зафиксировано в словаре Срезневского в значении *мир*) и воинственность (окоп, оград — военные укрепления и заграждения). Сохранены выстроенные в оригинале «рачные» буквосочетания *Марии рам(о)*, *покои окоп*. Соблюдена односложная рифма.

Мы записываем славяно-русские стихи в современной орфографии — так, как сейчас принято издавать силлабическую поэзию XVII в.: без еров после согласных в концах слов, без ятей. Иначе палиндромы оказались бы слегка подпорчены. Однако еры и яти уже тогда, в XVII в., в расчет не принимались, если составлялся акростих или палиндром. Ер вообще отсутствовал в таких случаях, ять смешивался с буквой е. Подобные вольности допускались и в польских текстах: в приведенном Симеоновом «Раке» аналогичным образом не различаются литеры у, і и j. По-видимому, это не считалось серьезным ущербом для палиндрома.

До сих пор мы располагали цитацию стихов в последовательности возрастающих трудностей, сопряженных с их переводческим воплощением. По принципу «от простого к сложному». Заключительный же пример, казалось бы, призван был убедить в том, что в данной области нет непреодолимых препятствий. Но это не так. Непреодолимые экспериментальные барьеры все же имеются. Так, принципиально непереводимы макаронические стихи Симеона. Он умел писать по-латыни, по-польски, по-старобелорусски и на церковнославянском (славяно-русском). Бывало, смешивал доступные ему языки в пределах одного произведения. Это причудливое славянское троеязычие парализует возможности переводчика. Возьмем к примеру школьную пьесу «Вирши в великий пяток при вышосе плацаницы». В ней преобладающий язык — польский. Но если перевести польские стихи на славяно-русский, то они незаконно сольются в единую лингвомассу с церковнославянскими стихами типа:

Душа моя, воскую во лености спиши,
Егда в гробе Иисуса умерщвлена зриши!

В начале статьи говорилось о том, что белорусским коллегам, наверное, было бы интересно перевести польские стихи своего земляка на старобелорусский язык. Но с «Виршами в великий пяток...» ничего нельзя сделать. Переведенные на старобелорусский, они столь же незаконно слились бы

в единую лингвомассу с белорусскими стихами Симеона:

Иосиф з Никодимом блажанные людзе,
Нехай вам нагорода в небе весна будзе.

Макароническое польско-церковнославянское четверостишие — приветствие Симеона на именины боярину Богдану (Иову) Хитрово — приводит в одной из своих работ П. Н. Берков [6]. Достаточно взглянуть на этот текст (две строки на церковнославянском, две строки на польском), чтобы убедиться: в таких стихах польские слова обречены на непереваемость — своим соседством со славяно-русским текстом.

Однако вернемся в сферу принципиально осуществимого. Любопытно, что сам Симеон полагал возможным переводить свои «чисто»-польские стихи на церковнославянский, что и делал с некоторыми из них. Конечно, материал этот исключительно интересен и естественно приводит к вопросу о том, нужно ли переводить сегодня такие стихи еще раз, если имеются авторские переводы XVII в. Ответ будет компромиссным: да, нужно, но при этом отчасти — в большей или меньшей мере — используя переводческие подсказки Симеона, вводя в свой новый текст его отдельные переводческие находки. С особой осторожностью и скупко к ним следует обращаться тогда, когда перед нами слишком вольный, далекий от польского оригинала, Симеонов автоперевод. Не всегда преложитель своих стихов сохранял размер подлинника, иногда произвольно заменял одни мотивы и образы другими, иначе компоновал части. Таково, например, вошедшее в «Вертоград многоцветный» стихотворение «День и ночь» — свободное переложение польского стихотворения «4 части дня».

Современный переводчик не вправе относиться к оригиналу с той великодушной небрежностью, какую мог позволить себе сам автор, хозяин, ополченный правом творческой свободы (не обязан же он переводить сам себя, а волен просто написать стихотворение на другом языке!). К тому же современный переводчик должен считаться с современными критериями точности стихотворного перевода. В этом смысле его не удовлетворит не только сделанный когда-то заведомо неточный перевод, но и такой перевод, который для своего времени мог восприниматься как вполне точный. У Симеона есть и такое. Есть полноязычное стихотворение «Gloria inconstans est» («Слава изменчива»), которое он написал редким размером — 12-сложником. И тем же размером, в том же сборнике «Carmina varia» перевел на церковнославянский. Перевел, кажется, с такой степенью точности, к какой не стремился в других случаях. Но и тут необходим новый перевод, хотя и с широким использованием Симеонова. Выделим в тексте нового перевода то, что вошло в него из старого, авторского:

*Почто мир привержен славе скоротечной,
Ея блаженству несть години безпечной.
Толь скоро власть ея zde ся изменяет,
Коль сосуд скуделен сокрушен бываает.
Повеждь, где Соломон, славою почтенный,
Или где есть Сампсон, воеждь непобежденный?
Где есть Авесолом, лицем вельми красен?
Где Иоанафан, милостив и ясен?
Камо обратися он, Кесарь велможный,
Или пышный богач, пировник безбожный?
Повеждь, где днесь Тулий сладко глаголивый
И где Аристотель претонкомжсливий?
Где мощь державная, славныя краины,
Кралевство, прелатство? — повсюду руины!
Толь мнози князие и владыци быша —
В мгновении ока вси ся измениша!
Суєтно торжище — сего мира слава,
Наслаждение есть тень ея устава.
И добро всечасно от нас убегает,
В мгновении ока тупе исчезает.*

О тли, снеди червей, о пепеле земный!
О росе, суето, что тако надменный?
Не веси аще день грядущий узриши,
День, егда можеши, всим да угодиши.
Не даждь убо сердцу в мирских уповати:
Что бо мир дарует, то хощет отъяти.
Пецися о вечных, умом буди в небе:
Блажен, иже мир сей отринет от себе.

Дословных совпадений, отмеченных курсивом, так много, что, пожалуй, предлагаемый перевод можно считать новой редакцией старого, авторского, «исправленного и дополненного». Это случай максимального использования Симеона текста. В немногих других случаях, когда имеются авторские переводы, текстуральное их вовлечение в тексты новых переводов ничтожно мало. Например, в упоминавшихся «4 частях дня» почти полностью удалось использовать лишь одну строку из стихотворения «День и ночь», переделав ее так, что 13-сложник «В хлевину си скот идет, орач в дом приходит» сжался в 11-сложник «В хлевину скот и орач в дом приходит». Кроме того, использованы рифма Симеона *разсыпает — впровозждает* и словосочетание «Нудит люди ко делу». И это все — при том, что в «4 частях дня» 18 строк. Приблизительно такое же соотношение нового и старого — в нашем переводе стихотворения «8 чудес света» (с его текстом пересекается «Приветство» Симеона царю Алексею Михайловичу, где тоже описываются чудеса света).

Поэтому неправомерным было бы внешне эффектное заявление, согласно которому современный переводчик будто бы должен стремиться перевести полноязычного Симеона так, как это сделал бы (а в некоторых случаях и делал) сам Симеон. Поэт в своих творческих и, в частности, переводческих решениях непредсказуем и свободен, современный же переводчик в первую очередь зависим от переводимого текста, крепко к нему привязан. Впрочем, авторских переводов Симеона известно мало, и в подавляющем большинстве случаев мы избавлены от «искушения» подменить таковыми свои собственные переводы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Симеон Полоцкий*. Вирши. Сост., подгот. текстов, вступ. статья и комментарии В. К. Былинкина, Л. У. Звонаревой. Минск, 1989.
2. *Паперная Э. С., Розенберг А. Г., Финкель А. М.* Парнас дыбом. Сост., подгот. текстов, вступ. статья Л. Г. Фризмана. М., 1989, с. 52.
3. *Былинкин В. К., Звонарева Л. У.* Ранняя политико-сатирическая поэзия Симеона Полоцкого (польскоязычные поэмы о событиях Первой Северной войны). — Советское славяноведение, 1987, № 6.
4. *Симеон Полоцкий*. Избранные сочинения. Подгот. текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.-Л., 1953; Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Вступ. статья, подгот. текста и примечания А. М. Панченко. Л., 1970.
5. *Мелетий Смотрицкий*. Грамматика славенския правилное Синтагма. Киев, 1979 (фототипическое издание).
6. *Берков П. Н.* К спорам о принципах чтения силлабических стихов XVII — начала XVIII в. — В кн.: Теория стиха. Л., 1968, с. 315.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Хрестоматия по истории южных и западных славян. Учебное пособие для вузов в трех томах. Т. I. Эпоха феодализма. Ств. ред. М. М. Фрейденберг. Минск, 1987, 272 с.

Рецензируемое издание подготовлено кафедрой истории древнего мира и средних веков Калининского университета с участием славистов из МГУ, Института славяноведения и балканистики АН СССР, научных работников и преподавателей вузов из Москвы, Ленинграда, Минска, Саратова, Иванова и других городов. Кстати, в предисловии к тому было бы уместно поименно назвать всех, кто внес вклад в его создание.

Прежде всего нужно подчеркнуть, что подобная хрестоматия издается в нашей стране впервые. Рассматриваемый том включает около 250 документов, причем подавляющее число источников впервые публикуется на русском языке.

Перед составителями стояла нелегкая задача: отобрать среди многих тысяч памятников самые важные и интересные. В основу структуры хрестоматии положен регионально-страноведческий принцип. Весь материал распределен по восьми большим разделам: «Ранние славяне», «Болгария», «Сербия и Босния», «Польша» и т. д. Думаю, что применительно к эпохе средних веков страноведческий подход вполне оправдан. Тем более, что внутри каждого раздела документы составляют не просто набор разрозненных текстов, а группируются вокруг единых проблем (например, «Городская жизнь», «Народные движения»...), Всего в хрестоматии свыше тридцати таких тематических подборок. В конце каждого страноведческого раздела приводится подробный список публикаций источников на русском и иностранных языках, а также литература источниковедческого характера.

Рецензируемый том практически полностью составлен из фрагментов размером от нескольких строк до трех—четырех страниц. Такой подход позволил максимально широко охватить содержание исторического процесса у зарубеж-

ных славянских народов, познакомить читателей с разными видами и типами источников. Вместе с тем, всякое преупаривание исторического источника таит опасность его искажения.

Конечно, фрагментарность всякой хрестоматии — неизбежное зло. Понятно и стремление составителей освободить тексты от многословных повторений и стереотипных формул, свойственных памятникам средневековья (жалованным и локационным грамотам, урбариям, привилегиям, уставам и др.). И все-таки представляется необходимым включение в подобное издание в качестве образцов некоторого числа компактных документов без каких-либо сокращений.

Важным достоинством первого тома является тщательно продуманный, достаточно обстоятельный и в то же время компактный справочный аппарат. Каждый раздел открывается введением с характеристикой помещенных в нем источников. Документы снабжены заголовками, указывающими на содержание и вид источника. Тексты предваряет краткая источниковедческая справка, сообщаются сведения об авторе, есть указание, откуда взят документ. После текста приведены фамилии составителей-переводчиков. Не лишним представляется и дидактическая часть пособия: к каждому разделу дан перечень проблемных вопросов, требующих особого внимания или предназначенных для самостоятельного анализа, а в некоторых случаях и краткие методические рекомендации по работе с источниками.

Выдержать единый подход, соблюсти единообразные требования к публикуемым текстам и комментариям было, вероятно, не просто. Особенно если учесть, что в составлении хрестоматии приняло участие немалое число авторов, живущих к тому же в разных городах. Но эти сложности были успешно преодо-

лены редакционной коллегией тома и коллективом минского издательства «Университетское». Особо хочу отметить очень добросовестную и тщательную работу издательского редактора Н. Н. Филитович.

Какова же сфера использования хрестоматии? Пожалуй, она прежде всего нужна самим преподавателям исторических факультетов. До сих пор большинство из них, не имея базового (славянистического) образования и преподавая историю южных и западных славян «по совместительству», были лишены возможности познакомиться со сколько-нибудь широким кругом источников по своему курсу. Решается очень острая и, я бы сказал, болезненная проблема обеспечения прак-

тических занятий, введенных по курсу истории южных и западных славян новым учебным планом для университетов.

Студенты-историки получили прекрасный материал для самостоятельной работы, прежде всего для подготовки курсовых и дипломных работ. А ведь до сих пор славянистическая тематика редко избиралась студентами для самостоятельного исследования как раз из-за отсутствия доступных источников на русском языке.

Издание хрестоматии будет способствовать удовлетворению интереса самого широкого круга читателей к историческому прошлому славянских народов.

Костяшов Ю. В.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА» (МАТЕРИАЛЫ)

Материалы состоявшейся в апреле 1988 г. в Москве в Институте славяноведения и балканистики АН СССР конференции на тему «Социальная действительность и литература» с участием литературоведов из социалистических стран опубликованы в сборнике [1]. По актуальности представленных проблем, по свежести привлеченного литературного материала сборник заслуживает пристального внимания филологов и историков литературы. В докладах, собранных вместе, взятых в совокупности и отрыве от обширных, порой жарких дискуссий, развернувшихся на конференции¹, ясно вырисовывается стержневая задача книги — определить специфику подхода, необходимого для адекватного научного описания «молодого», «не перебродившего» литературного процесса.

В книге охвачен широкий спектр художественных явлений, характерных для литературы европейских социалистических стран последнего десятилетия, рассмотренной с установкой на совмещение историко-сопоставительного научного анализа с методами текущей литературной критики. При такого рода непредвзятом подходе обобщения литературного материала с точки зрения тенденций, наиболее характерных для современного этапа, в значительно меньшей степени грешат схематизмом, ибо соизмеряются

с движением противоречивого, подлинно живого развития литературы во всей ее разноликости.

Попытка научного рассмотрения явлений современного литературного процесса, предпринятая авторским коллективом, тем интереснее, что большинство участников конференции уже долгие годы ведут совместные исследования².

Мы остановимся лишь на немногих работах и наиболее актуальных проблемах.

С. Шерлаимова (СССР) в докладе «Литература как эстетическое исследование и моделирование человека и общества» отметила, что объектом исследования писателей все чаще становится послевоенная действительность и современность, литература последних лет демонстрирует способность художника опережать общество, определяя и называя жизненно важные проблемы. Сегодняшняя литература, при всем разнообразии представленных художественных решений (многие из которых тесно связаны с поэтикой так называемого постмодернизма), дает обществу мощный заряд критической энергии. Автор подчеркнула, что усиление критической направленности литературы не означает ее отказа от второй своей извечной функции — моделирования идеала. Сегодня это делается «методом от

¹ Подробнее о ходе конференции см. [2].

² Результаты этих исследований отражены в коллективных трудах [3 — 6].

противного». Категорическое отталкивание писателей от любой «лакировки» приводит к тому, что позитивное начало утверждается, как правило, через трагедийную ситуацию. Специфика современного этапа развития литературы в том, что сегодня «идеал» отступает на второй план по сравнению с остро критическим анализом действительности.

В. Хорев (СССР) в докладе «Новые тенденции в польской прозе 80-х годов» выделяет две, наиболее характерные для польской литературы последних лет — так называемая «горячая литература», публицистический вариант политического романа, оразившего общественно-политический кризис 80-х годов. По мнению В. Хорева, относящиеся к «горячей прозе» произведения, независимо от своей направленности, не более, чем политико-публицистические однодневки, лишённые глубокого художественного осмысления причин, приведших к общественно-политическому кризису. Альтернативной тенденцией автор считает прозу так называемой «художественной революции», которая, несмотря на отдельные наиболее талантливые произведения, в целом развивается в отрыве от идеологической и нравственной функции литературы, от читателя, в очередной раз в истории литературы обратившись в «игру в бисер» для посвящённых, оставляя в стороне размышления над вечными вопросами добра и зла.

Таким образом, польская литература 80-х годов находится в переходном периоде, ожидая прихода таланта, способного органически соединить злободневные и вечные проблемы. По словам Ц. Норвида, «большие поэты появляются тогда, когда больших поэтов нет».

Возрастающей социально-политической функции литературы посвящены доклады: Ю. Богданова (СССР) — «Новые аспекты изучения современного литературного процесса», Р. Гурского (ПНР) — «Мемуарная литература в народной Польше», В. Петрика (ЧССР) — «Общественное развитие и историческая проза 70-х годов».

Проблемы соотношения современного литературного процесса с культурной традицией наиболее развернуто анализируются в докладах А. Гугнина (СССР) и А. Йорданова (НРБ).

А. Гугнин в докладе «Литература ГДР в 70—80-е годы и проблемы культурного наследия» отмечает, что с 1970-х годов в культурной политике, литературоведении, книгоиздании, культурной жизни

и литературной критике ГДР формируется и всесторонне разрабатывается понимание сложности и многоаспектности проблем культурного наследия. На примере творчества ряда современных писателей автор показывает, что «игра» традицией становится у них неотъемлемой составной частью произведения, создавая многозначность художественного текста. Даже такие содержательные стороны произведения, как тема, сюжет, конфликт заметно меняют свой характер, включая в себя огромный, накопленный человечеством опыт, используемый писателями в качестве литературной традиции.

А. Йорданов в докладе «„Свое“ и „чужое“ в болгарской литературе 70—80-х годов» обосновывает вывод о том, что ключевой проблемой литературы рассматриваемого периода является проблема диалога, т. е. открытости, с одной стороны, глубоко драматичным социально-политическим конфликтам времени, а с другой — литературным традициям. Последнее превращает «забытые» и поэтому в течение многих лет «чужие» структуры в «свои», необходимые. Если в предшествующий период эти диалогические тенденции носили эпизодический характер, то начиная с 70-х годов они проявляются как объективная закономерность. Особенно активен, по мнению Йорданова, диалог с «модернистским прошлым».

О творчестве молодых румынских прозаиков и поэтов, определяющих свое творчество как «художественную революцию», говорится в докладе М. Фридмана (СССР) «Молодая проза СРР и ее место в поисках современной румынской литературы». Они выходят на авансцену тогда, когда «выдохся» роман о «навязчивом десятилетии», бывший наваждением прозы 60-х годов и повествующий об эрозии личности под влиянием культурных извращений 50-х годов. За пристрастие к усложнению техники повествования, включение в текст книжных, газетных цитат, саморецензий и т. п. их зачисляют в «румынский постмодернизм» и «румынский текстуализм». Докладчик, однако, подчеркивает, что их нельзя причислять к текстуалистам только за то, что они используют приемы текстуализма, ибо их поиск направлен на конструктивное созидательное вмешательство в жизнь. Их полемика по отношению к литературе предыдущих лет в том, что они отвергают «наивные приемы прозаиков-традиционалистов, пишущих „на актуальные темы“, отказываются от их упрощенной трактовки взаимоотноше-

ний между автором и читателем, автором и персонажем. Отсюда фрагментарность, калейдоскопичность текстов, ничуть не мешающая целостному восприятию художественного произведения, ибо „бесвязность,— заявляют молодые,— предпочтительнее деформирующего порядка“.

Г. Ильина (СССР) в докладе «Основные тенденции развития югославской прозы в 70-е годы» показывает, что появившаяся в конце 60-х «новая проза» или «проза действительности» при всей своей неоднородности предшествовала попыткам выйти из «заколдованного круга чистого искусства» на просторы реальности. В 80-е годы литераторы Югославии все смелее движутся к острым общественным и политическим проблемам. Возрождается политический роман. Писатели стремятся разобраться в противоречиях социалистического общества, обращаются к до недавнего времени «закрытым» темам.

Каждый из материалов сборника вызывает размышления. Сказанное относится к работам Х. Ольшовского (ГДР) — «Параллели и различия в поэзии Польши и ГДР в 70-е годы», В. Ольбрых (ПНР) — «Деревенская проза и „экологическое течение“ в современной советской литературе (на материале прозы 60-80-х годов)», О. Цыбенко (СССР) — «Общие тенденции в современной русской и польской деревенской прозе», В. Навроцкого (ПНР) — «Современная польская проза — попытка поставить диагноз», С. Мусенко, В. Тихомировой (СССР) — «Традиции польского политического романа межвоенного периода в современной литературе», О. Кирилловой (СССР) — «Традиции И. Андрича и современная сербская проза», С. Беляевой (НРБ) — «К проблеме художественного конфликта в болгарской прозе 70-х годов», Ш. Влашина (ЧССР) — «Изображение интеллигенции в современном чешском романе», Л. Широковой (СССР) — «Проблема отношения к „молодой про-

зе“ 60-х годов в словацкой литературе», П. Дерци (ВНР) — «Повествование, авторская „точка зрения“, метафоризм. (Нарративные вариации в венгерской прозе 70-80-х годов)», В. Середы (СССР) — «Венгерская проза 70—80-х годов. (К вопросу об изменении общественных функций литературы)», М. Шутовца (ЧССР) — «О некоторых методологических вопросах изучения словацкой литературы 70—80-х годов», Дж. Мунтяна (СРР) — «Об освоении культурного наследия в наши дни», Н. Пономаревой (СССР) — «Тенденции развития болгарской драматургии 80-х годов», Г. Клатт (ГДР) — «Советская проза как материал для драматургов ГДР. Размышления об особенностях ее рецепции в 80-е годы», Э. Эрдеди (ВНР) — «Новые тенденции в венгерской драматургии 70—80-х годов».

Оперативно изданный сборник материалов международной научной конференции, несомненно, способствует более глубокому изучению современного литературного процесса в европейских социалистических странах.

Кириллова О.

ЛИТЕРАТУРА

1. Литература европейских социалистических стран в 70—80-е годы. Материалы международной конференции. М., 1988.
2. Ильина Г. Социальная действительность и литература. — *Общественные науки*, 1988, № 6, с. 197—206.
3. Современная литература Чехословакии в контексте литератур европейских социалистических стран. М., 1981.
4. Современная болгарская проза и литература европейских социалистических стран. М., 1985; София, 1986.
5. Проблемы развития литератур европейских социалистических стран после 1945 г. М., 1985; Берлин, 1986.
6. Современные литературы европейских социалистических стран. 1945—1980 (историография, периодизация, методология исследования). М., 1986.

В. КЮВЛИЕВ-МИШАЙКОВА. Устойчивите сравнения в българския език. София, 1986, 275 с.

В. КЮВЛИЕВА-МИШАЙКОВА. Устойчивые сравнения в болгарском языке

В последние два десятилетия болгарская фразеология завоевала в славянской лексикологии одно из ведущих мест. С появлением фундаментальных фразеологических словарей, а точнее — парал-

лельно работе над ними, особенно ожились теоретические исследования в этой области; вышли обобщающие монографии (например, М. Леонидовой и К. Ниценовой). Книга В. Кювлиевой-Мишайковой

продолжает эту удачную серию фразеологических разработок, причем в той области, которая в болгаристике прежде почти не изучалась: в компаративной фразеологии.

Характерная особенность болгарской фразеологической теории — ее связь с словарной практикой. Рецензируемая книга продолжает лучшие традиции болгаристики, ибо большинство рассматриваемых в ней проблем пропущено сквозь призму важной задачи — составления первого словаря болгарских устойчивых сравнений (УС). Более того, книга и завершается этим практическим результатом: вторая, более объемная ее часть (с. 95—274) и является таким словарем.

В. Кювлиева признает релевантными для УС такие свойства, как раздельно-оформленность, устойчивость лексического состава, воспроизводимость и образность (с. 16). К ним, пожалуй, следовало бы добавить и экспрессивность — тем более, что В. Кювлиева апеллирует к ней неоднократно (с. 8, 11, 41, 42, 49). Ведь без экспрессивности УС не способно выполнять свою важнейшую (хорошо подчеркнутую в книге) функцию — характеризовать человека, объекты и процессы.

Композиция книги соответствует единству теоретического и практического подходов автора. В 1-й главе дается структурная характеристика болгарских УС, предлагается их типология по структурному признаку как левой, так и правой части. Много места уделяется варьированию, причем автор метко замечает, что оно не меняет семантики оборотов (с. 55).

Во 2-й главе В. Кювлиева останавливается на семантических особенностях болгарских УС: предлагается типология переосмыслений и распределение УС по степени мотивированности. Особо удачны места, в которых автор горячо выступает против исключения из корпуса так называемых «конвенциональных» УС сравнений типа *бял като сняг, черен като въглен, строен като топола* (с. 44—46). В лексикографической части убедительно показано, что такие единицы имеют все релевантные признаки УС, а потому их отражение в словаре обязательно (с. 86—87).

3-я глава посвящена описанию различных трансформаций (в основном количественных) УС. Далее (глава 4-я) болгарский материал группируется по самым разным классификационным признакам: тематической приуроченности опорного слова-существительного, идеографической привязке целостного зна-

чения УС, их стилистической тональности. В 5-й главе делается акцент выявления национальной специфики УС: автор пытается раскрыть связь между народной психологией и языком, причем привлекаются и другие славянские и европейские языки.

Итоги теоретического анализа УС четко и компактно преломляются в спектре лексикографических проблем (глава 6-я). В. Кювлиева предлагает синтез продуманных рекомендаций, на которых затем строятся принципы словаря болгарских сравнений (с. 95—100) и сам словарь.

Итог всей этой добротной исследовательской работы — «Словарь устойчивых сравнений в болгарском языке», насчитывающий 1500 единиц. Этот словарь основывается как на 5-миллионной картотеке Академического словаря болгарского языка, так и на собственных извлечениях автора из литературы и живой речи. Совершенно оправдано и включение в словарь диалектных УС из различных паремнологических собраний, словарей и собственных записей (например, из родного хасковского говора В. Кювлиевой). Не остаются в стороне и жаргонные УС, что позволяет отразить реальную картину членения «компаративного» мира в болгарском языке. И в этой объективности и реалистичности — также большая заслуга автора книги.

Конечно, в столь самостоятельном и основательном труде можно найти поводы для научной полемики. К ним в первую очередь относится переоценка степени устойчивости УС. Хотя автор с самого начала оговаривает ее относительность (с. 16), тем не менее весьма активно (и достаточно непоследовательно) пользуется этим критерием при определении УС и отборе их в корпус своего словаря. С одной стороны, В. Кювлиева отсеивает обороты «индивидуально-авторского характера», не отличающиеся по о т р я е м о с т ь ю (с. 16, 50—51, 85—86), с другой, представляя корпус собственного словаря читателю, автор практически нарушает свой принцип, ибо включает в словник обороты индивидуально-авторского типа: *сладък като сондтски джучки* (А. Маджаров), *хили се, като че му белят [червени] яйца* (П. Ангелов) и др. (с. 96). Аналогичным образом в высшей степени положительно оценивается факт включения в БАС и словарь французского языка П. Робера оборотов, не обладающих частотной воспроизводимостью, например, рус. *толстый как пухлырь и толстый как кирпич* (с. 87).

Относительность устойчивости как критерия фиксации УС легко видна при ближайшем рассмотрении тех оборотов, которые на его основе В. Кювлиевой «выбраковываются». Так, «авторскими образованиями» признаются обороты *бръчи като муза* и *седим като върху вулкан* (с. 86), что ведет к их исключению из словаря. Их повторяемость и устойчивость, однако, легко доказать фактом их наличия в других языках, причем не только славянских.

Относительность этого критерия, следовательно, ведет к искусственному обеднению корпуса национальной фразеологии, что явно не входит в задачу лексикографа. Вот почему, как кажется, лучше подвергнуться риску отражения в словаре потенциально устойчивых сравнений, чем пресечь им путь в него, тем более, что индивидуально — авторские УС обычно создаются по моделям общеязыковых оборотов.

Второй спорный момент книги — выделение в теории и в лексикографической практике группы без первого компонента, поскольку он представлен слишком большим числом лексем — типа *като луд*, *като бесен*, *като поп* и т. д. (с. 24—25). Тут В. Кювлиева делает шаг назад в полемике с авторами теории слов-сопроводителей, ибо, в сущности, признает периферийность левой стороны УС, а тем самым и отсутствие структурно-семантической целостности этой единицы. Множественность лексической репрезентации — результат двух процессов: предельной экспрессивной обобщенности (даже диффузности) правой части и активного лексического варьирования левой части УС. Отказываться от попыток лексикографической систематизации основания сравнений — это значит и отказываться от четкого семантического их описания как целостной единицы. Кажется поэтому, что тут необходима просто более компактная тематическая концентрация вариантов левой части: например, для УС *като луд* можно выделить обороты с глаголами движения, речи, трудовой деятельности, чувств и под. Систематизация тут возможна, хотя она, несомненно, более дифференцирована и сложна, чем лексикографическое описание семантики концентрированных УС.

В структурном отношении автор допускает, как кажется, переоценку конденсации УС в ущерб противоположной тенденции к его развертыванию. Так, легко показать, обратившись к соответствиям в других славянских языках, что УС

гледа като ударен не являются результатом «отсечения» последнего компонента более пространного оборота *гледа като ударен с мокър парцал [по главата]*, как думает автор (с. 59), а наоборот, первый оборот развертывается во второй.

Отсюда, кстати, и некоторая переоценка национальной специфичности отдельных болгарских оборотов. Так, УС *сня като заклан турчин* многократно анализируется в книге как образец зеркального отражения в компаративах национальной истории и народной психологии болгар (с. 51, 76, 78—79): утрата актуальности образа угнетателя-турка в годы Освобождения якобы привела к конденсации УС *сня като заклан турчин* в более краткое *сня като заклан* (с. 79). Однако уже сам факт низкой частотности оборота *сня като заклан турчин* говорит в пользу того, что это — лишь развернутый вариант более частотного двусоставного *сня като заклан*. Более того, в болгарском языке, с одной стороны, есть ряд именно двусоставных УС со словом *заклан* — например, *изрева като заклан* (с. 86), *викам като заклан* (с. 96); с другой — отмечают *сня* и иные развернутые варианты — анималистические, а не этнонимические: *гледам като заклана овца*, *мятам се като заклана кокошка*, а также целый ряд УС, созданных по той же краткой семантической модели: *сня като убит*, *сня като покойник*, *сня като удавник*. Но еще более доказывают первичность формы *сня като заклан* и вторичность *сня като заклан турчин* славянские параллели: рус. *спит как убитый*, прост. *зрпнит как зарезанный*; укр. *спить як убитий*, белор. *спіць як забіты*; чеш. *spí jako zabítý*, *spí jako zařezaný*; слов. *spí ako zabítý*; пол. *spí jak zabity*, *spí jak zarżnięty*; хорв.-серб. *spava kao zaklan*, *spava kao poklano* и под.

Можно было бы полемически высказаться и по более частным вопросам. Таковы неотождественность стилистической характеристики УС как целостной единицы и его компонента (с. 73); неоправданность расположения УС в словаре по первому компоненту (с. 97) — в связи с его активным варьированием или даже отсутствием во многих случаях; совмещение диалектного лексического варианта УС в одной словарной статье с общелитературным (с. 97—98); отказ от попыток лексикографически квалифицировать не только общее значение УС, но и его коннотации и ассоциативный фон (с. 99) и др. Можно оспорить и некоторые частности — например, утверждение, что об-

раз попа в русском языке не нашел своего отражения в УС (с. 81, но ср. народные обороты с разными, чаще всего негативными и ироническими, коннотациями: *как поп в покутье, как поп попадью берет* и др.).

Высказанные полемические соображения отнюдь не являются попыткой хоть как-либо преуменьшить научные достоинства книги В. Кювлиевой. Это — фундаментальный труд, с выходом в свет

которого слависты и особенно болгаристы получили не только объемный свод образных сравнений болгарского языка, но и глубокий и многосторонний анализ этого свода. Автор этой книги убедительно и ярко продемонстрировала многоцветие образной системы болгарского языка, отраженного в кристаллических сгустках устойчивых сравнений.

Мокиенко В. М.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Андреев А. Родолюбиви българи: Ист.-геогр. очерк. София, 1989, 134 с., 8 л. ил.
Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика: К 140-летию со дня рождения И. А. Бодуэна де Куртенэ. Сб. ст. / Сост. Николаев Г. А. Казань, 1989, 191 с.

Възвъзова-Каратеодорова К., Драголова Л. София през възраждането. София, 1988, 192 с., 8 л. ил.

Дмитерко Р. I. Міжнародні та радянські революційні свята на Україні: Іст.-етногр. нарис / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Льв. від-ня. Київ, 1989, 192 с.

Елисавета Багряна: Нови изследвания / Ред. колегия: Динеков П. и др. София, 1989, 191 с.

Константин Багрянородный. Об управлении империей: (Текст, пер., коммент.) / Под ред. Литаврина Г. Г., Новосельцева А. П.; АН СССР. Ин-т истории СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1989, 496 с.

Костюшко И. И. Прусская аграрная реформа: К пробл. буржуазной аграрной эволюции прусского типа. М., 1989, 261 с.

Марков Г. България в Балканския съюз срещу Османската империя, 1912—1913. София, 1989, 457 с.

Мишев М. Първото правителство на Отечествения фронт. София, 1988, 207 с.
Мишев Р. Австро-Унгария и България, 1879—1894: Полит. отношения. София, 1988, 335 с., 8 л. ил.

Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год: Политические аспекты / Пер. с пол. Зубкова М. Ф.; Общ. ред. и послесл. Созина И. М., 1989, 231 с.

Отец Матей Преображенски Миткалото: Ст. и науч. съобщения / Съст.: Драганова Т. София, 1988, 159 с., 15 л. ил.

Палеобалканистика и античность: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Нерознак В. П.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики, Ин-т языкознания. М., 1989, 254 с.

Пантев А. Европа между две революции, 1799—1848: Сходности, паралели, различия. София, 1989, 207 с.

Плохий С. Н. Паństwo и Украина: Политика римской куррии на украинских землях в XVI—XVII вв. Киев, 1989, 223 с.

Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1988.

Вып. I. / Ред. Творогов О. В., Загребин В. М. 342 с., портр.
Русија и босанско-херцеговачки устанак, 1875—1878 = Россия и боснийско-герцеговинское восстание, 1875—1878 / Приред. Павићевић Б. Титоград, 1988.

Св. 3. *Русско-турски рат 1877 = Русско-турецкая война 1877* / Уред. Глушчевић В. 533 с., ил.

Сентаандрејски зборник / САНУ. Сентаандрејски одбор; Уред. Медаковић Д. Београд, 1987.

I. 446 с., ил., 232 л. ил.

Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков: Тез. докл. и сообщ. сов.-пол. конф., 3—5 окт. 1989 г. / Редкол.: Смирнов Л. Н. (отв. ред.) и др.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1989, 50 с.

Социализм и актуальные проблемы культуры: Сб. обзоров / Отв. ред. Левит С. Я.: АН СССР. ИНИОН. М., 1989, 194 с.



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Илири и Албанци. Серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године. Београд, 1988, 375 с.

Иллирийци и албанци. Сериа лекциј, прочитаних с 21 маја по 4 јуна 1986 г.

Сербской Академией наук и искусств (САНИ) выпущен отдельным сборником цикл лекций сербских ученых, подготовленный Междотделенческим комитетом по изучению Косова совместно с Отделением исторических наук САНИ (не представлен лишь доклад Й. Ковачевича «Албания и соседние земли с VII до IX века»). Весь текст сборника издан по-сербски и по-французски, чтобы таким образом сделать выводы авторов доступными более широкому кругу ученых.

Цель данного научного мероприятия и самого сборника раскрывается во вступлении акад. Ант. Исаковича, который отметил, что эта проблематика, давно вызывающая оживленные дискуссии, теперь приобрела особую остроту ввиду событий на Косове; к тому же в албанской историографии определенные аспекты данной темы нередко трактуются некритически, односторонне, в то же время подобные оценки используются в ненаучных целях, широко распространяются в разных изданиях (с. 5). Поэтому в статьях рецензируемого сборника подробно рассматриваются проблемы происхождения иллирийцев и албанцев, их взаимоотношения с соседними народами начиная с энеолита, затем в эпоху античности и средние века, вплоть до XV в. В статье (преимущественно археологического характера) «Возникновение и происхождение иллирийцев» (с. 9—80) М. Гарашинина отмечается неправомерность смешения этнического понятия «иллирийцы» и античного географического определения Иллирика, тем более — необоснованность включения в состав иллирийцев также и дарданов и пеонов, как это встречается в работах албанских ученых (с. 74—75). С таким некритическим отождествлением иллирийцев и дарданов полемизирует в своем докладе

«Иллирийское и Дарданское царства (Происхождение и развитие, структура, эллинизация и романизация)» (с. 145—171) Ф. Папазоглу. Для специалистов по истории античности, без сомнения, представит интерес ее вывод, что Иллирийское царство следует считать «государственным образованием, а не племенным союзом» (с. 155, 158). Обширный археологический материал привлечен также в работе Вл. Поповича «Албания в поздней античности» (с. 201—250), где рассмотрены судьбы этой территории накануне и в период Великого переселения народов — вплоть до поселения здесь славян (см. на с. 230 картосхему славянских топонимов в пределах современной Албании, составленную по результатам исследований советского лингвиста А. М. Селищева). Имеющиеся материалы, как резюмирует В. Л. Попович, не подтверждают тезиса о непрерывности этнического континуитета — от иллирийцев до албанцев (с. 150). Исторические судьбы этих районов Балканского полуострова в средние века рассмотрены в докладах Б. Ферьянчича «Албанцы в византийских источниках» (с. 285—302) и С. Чирковица «Албанцы в зеркале южнославянских источников» (с. 323—339), где также подчеркнуто, что впервые албанцы в письменных памятниках эпохи феодализма упоминаются лишь в XI в., при этом ареал их расселения до конца XIII в. ограничен областью средневекового Арбанона, и лишь позднее происходит диаспора албанцев по Балканам (с. 301—302; ср. также с. 338). Примечательно, как указывает Чирковиц, что в средневековых южнославянских памятниках нет негативных стереотипов албанцев или каких-то сообщений об этническом антагонизме или нетерпимости, что заметно отличает эти свидетельства и от византийского ма-

териала (с. 339). В заключении сборника М. Гаршанин вновь обращает внимание на неправомерность тезиса об иллирийцах как прямых предках албанцев, про-

цесс формирования которых был весьма сложным, включавшим разные этнические элементы.

Наумов Е. П.

Kennedy Grimsted P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory. Princeton, 1988, 1107 p.

Кеннеди Гримстед П. Архивы и рукописные хранилища в СССР: Украина и Молдавия. Книга 1. Общая библиография и указатель учреждений

Имя американского профессора Патриции Кеннеди Гримстед, автора многих работ, посвященных проблемам источниковедения истории славянских народов, хорошо известно славистам всего мира. В последние годы исследовательница завершила и издала несколько серьезных архивоведческих трудов, касающихся знаменитой Литовской метрики — огромного свода документов по истории народов Восточной Европы, изучаемого ею совместно с коллегами из АН СССР и АН ПНР.

Настоящая книга, продолжающая серию справочных пособий-путеводителей по архивохранилищам Советского Союза, включает материалы, интересные в равной степени для всех славистов и балканистов, особенно тех, кто занимается историей восточных славян, Польши, Молдавии, Румынии.

Справочник П. Кеннеди Гримстед состоит из вводных статей, списка сокращений, пяти обширных частей, двух приложений и трех указателей в конце книги.

Первая часть — «Общая архивоведческая и вспомогательная библиография» (р. 3—158) — включает обобщающие материалы, раскрывающие фонды архивов, библиотек и музеев Украины и Молдавии. Специальные разделы посвящены средневековой славянской рукописной книжности, документам по общему и региональному источниковедению истории и культуры, включая историю церкви; источниковедению истории армян, евреев, поляков и балканских народов; греческим и латинским рукописям; восточным рукописям и документам; картографии и т. д.

Вторая часть — «Хранилища Киева» (р. 161—422) — содержит подробнейшие сведения о составе собраний Центрального государственного исторического архива УССР, Центрального государствен-

ного архива Октябрьской революции высших органов государственной власти и органов государственного управления УССР, Центрального государственного архива-музея литературы и искусства УССР, Центрального государственного архива кинофотодокументов УССР и множества других.

В третьей части — «Хранилища Львова» (р. 423—595) — приводятся сведения о документальных богатствах второй после Киева архивной сокровищницы Украины: Центрального государственного исторического архива в г. Львове, Государственного архива Львовской области, Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР, Львовского исторического музея и других учреждений.

Четвертая часть книги — «Хранилища Харькова и других областей» (р. 597—878) — посвящена архивным собраниям давней столицы Советской Украины — Харькову и Харьковщине, а также 22 других областей УССР и их центров.

В пятой части — «Сведения об архивах и рукописных собраниях в Молдавской ССР» (р. 879—899) — приводятся справочные материалы о собраниях Молдавии: Центрального государственного архива Молдавской ССР, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов республики, республиканского партийного архива при Институте истории партии, Центральной научной библиотеки АН Молдавской ССР, Государственного музея республики.

Первое приложение — «Организация архивов, их структура, виды и доступность» (р. 903—931) — знакомит с основными особенностями архивной службы в СССР.

Приложение второе — «Таблица географических названий» (р. 933—959) — важный инструментальный для исследователей не только при пользовании дан-

ным пособием. Помимо общих вводных замечаний, здесь даны параллельные названия многих сотен географических объектов на украинском, русском, польском, молдавском, румынском, турецком, венгерском, немецком, английском, татарском, греческом, итальянском, чешском, белорусском, латинском, словацком, французском языках.

Оценивая справочник П. Кеннеди Гримстед в целом, можно без преувеличения сказать, что он является настоящей архивоведческой энциклопедией, подоб-

но которой у нас пока не было. Реализуемая американской исследовательницей в течение многих лет программа по созданию системы информационных архивоведческих работ полностью оправдала себя, П. Кеннеди Гримстед удалось обеспечить мировую славистику самыми надежными проводниками по весьма сложной области, без достаточного освоения которой дальнейшее развитие науки попросту невозможно.

Лабинцев Ю. А.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Трифонов С. Антанта в Тракия, 1919—1920. София, 1989, 264 с.

Украинско-чехословацкие интернациональные связи: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Мельникова И. Н.; АН УССР. Ин-т истории ЧСАН. Чехосл.-сов. ин-т. Киев, 1989, 261 с.

Ускорение социально-экономического развития и художественная культура социалистического общества / Отв. ред. Бояджиева Л. В.; ВНИИ искусствознания. М., 1989, 163 с.

Фрейдберг М. М. Дубровник и Османская империя. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1989, 303 с., ил.

Edgardo M. Marian Spsychalski — działacz Polskiej partii robotniczej. Warszawa, 1988, 256 s.

Jeziński A., Petz B. Historia gospodarcza Polski Ludowej, 1944—1985. 3-e wyd. zm. Warszawa, 1988, 461 s.

Hejnic J., Bok V. Gesners europäische Bibliographie und ihre Beziehung zum Späthumanismus in Böhmen und Mähren. Praha, 1988, 131 S.

Horáček J. Krása čierneho umenia. Br., 1988, 280 s., il.

Hvíč J. Básnická cesta Milana Lajčiča. Br., 1988, 174 s., 8 l. il.

Ferenčukova B. Sovietske Rusko a Malá dohoda: (K problematike medzinárodných vzťahov v strednej Európe v rokoch 1917—1924). Br., 1988, 154 s.

Garlicki A. Józef Piłsudski, 1867—1935. Warszawa, 1988, 721 s.

Karol Rosenbaum: Personalna bibliogr. / Zost. Spišková E. Martin, 1988, 278 s.

Kawecka-Gryczowa A. Biblioteka ostatniego Jagiellona: Pomnik kultury renesansowej. Wrocław etc., 1988, 344 s., 18 ark. il.

Kram J. Zarys kultury żywego słowa. 2-e wyd. Warszawa, 1988, 208 s.

Krzeminski C. Wojna powietrzna w Europie, 1939—1945. 2-e wyd., popr. i rozsz. Warszawa, 1989, 384 s., 16 ark. il.

Kujawska K., Kujawski L. «Nad Niemnem» Elizy Orzeszkowej / Kujawscy Krystyna i Lech. 1-e wyd. Warszawa, 1988, 152 s., il.

Literárnomúzejný letopis / Zost. Sedlák I. Martin, 1988. 22. 261 s., il.

Malek E. Narracje staropolskie w Rosji XVII i XVIII wieku. Łódź, 1988, 295 s.

Mencel T. Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku. Lublin, 1988, 363 s.

Miasto i kultura polska doby przemysłowe: Przestrzeń — człowiek — wartości / Pod red. Imbs H. Wrocław etc., 1988, 344 s., il., 1 ark. sch.

Olejnik K. Stefan Batory, 1533—1586. Warszawa, 1988, 319 s., m., 13 ark. il.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ПОЛЬСКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

50 лет назад вторжением в Польшу началась вторая мировая война. Неудивительно поэтому, что именно польские ученые стали инициаторами международной конференции, посвященной войне и литературе. Она была организована в мае 1989 г. Институтом теории литературы Люблинского университета им. Марии Кюри-Склодовской совместно с Обществом им. Генрика Сенкевича, при содействии Воеводского отдела культуры и искусства и воеводских библиотек в Тарнобжеге и Хелме. Заседания научной сессии проходили в разных городах: Сандоже, Тарнобжеге, Хелме. Около 40 докладов, представленных учеными Польши, Венгрии, ГДР, СССР вызвали оживленную дискуссию, которая показала, что «белых пятен», связанных с войной и литературой о ней, много и от них необходимо избавляться.

На конференции большое внимание было уделено поэзии. Доклад Л. Людоровского был посвящен польской поэзии 1939 г., предвоенной отечественной поэзии — доклад Т. Ёделки-Бужецкого; война в поэзии Т. Боровского стала темой выступления З. Макрановской. Близкая тематика нашла отражение в докладе Н. А. Богомоловой о творчестве Анны Ахматовой; Я. Орловский говорил о польской теме в русской поэзии о войне; Х. Вольны — об эпической песне об ужасах войны.

О дневниках военного времени шла речь в докладе М. Марцин. Е. Конечны напомнил об отношении к событиям 1939 г. крупных польских писателей А. Гжимала-Седлецкого, К. Ижиговского, В. Серопевского, З. Налковской. Войне и оккупации в репортажах М. Ваньковича был посвящен доклад К. Вольны. Тема войны и оккупации, представленная в творчестве М. Домбровской, освещалась в докладе Э. Полановского; Е. Анджеевскому посвятил свое выступление Я. Детка.

Ограниченные рамки хроники не позволяют назвать Доклады всех авторов, но даже самое беглое перечисление проблем: отношение к войне польских писателей, творчество и судьба венгерских писателей в войне, война и оккупация в репортажах, дневниках, рассказах, понятие военного поколения, рецепция польской литературы о войне в ГДР, польская литература о войне в переводах и критике СССР, литература на войне и т. д. — убеждает в том, сколь разнообразно и широко освещалась избранная тема на этой международной конференции, открывшей много новых проблем, фактов, деталей, аспектов литературной жизни эпохи второй мировой войны.

Нельзя объять необъятное, но тем не менее приходится сожалеть, что не все выдающиеся литературные явления нашли здесь отражение. Так, например, не было доклада о поэзии К. Бачиньского. Оставшиеся и после конференции «белые пятна» не украшают палитру литературной жизни, но в то же время оставляют возможность новых открытий.

Советская делегация была самой многочисленной на конференции. Львовские научные учреждения были представлены докладами об «Узлах жизни» З. Налковской (Е. Рубанова), отражении войны в прозаической миниатюре (Е. Гинда), военной лексике в польском и украинском литературных языках (З. Бычко). Среди полонистов Москвы, принявших участие в конференции были: Е. З. Цыбенко (МГУ), посвятившая свой реферат польской литературе о второй мировой войне в русских переводах и критике 70—80-х годов, Т. П. Агапкина (ИСБ АН СССР), продолжившая эту тему, научные сотрудники того же Института, осветившие в своих докладах проблемы соотношения литературы и факта (А. Липатов) и роль литературы на фронтах Великой Отечественной войны (Д. Прокофьева).

Прокофьева Д. С.

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ СЛАВЯН И ИХ СОСЕДЕЙ В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА

В марте 1989 г. Институт славяноведения и балканистики АН СССР провел очередную конференцию из цикла «Славяне и их соседи», которая была посвящена международным отношениям в эпоху феодализма и проходила в рамках VII Чтений, посвященных видному советскому слависту В. Д. Королюку, ежегодно организуемых сектором истории средних веков. На конференции был затронут широкий круг проблем, связанных с историей дипломатических отношений и межэтнических контактов в сфере политики.

Во вступительном слове член-корр. АН СССР Г. Г. Литаврин (Москва) подчеркнул важность перемен, происходящих сейчас в советской исторической науке, начинающей освобождаться от пут догматизма. О вкладе ученых старшего поколения, так или иначе противостоявших омертвлению исторической науки, говорилось в выступлениях Б. Н. Флоры (Москва) (о значении научной деятельности В. Д. Королюка) и Е. В. Чистяковой (Москва) (о трудах М. Н. Тихомирова).

Анализируя славяно-аварские отношения по византийским источникам, Г. Г. Литаврин подчеркнул вклад западноевропейской историографии в изучение вопроса и подверг критике имеющиеся в науке крайние точки зрения на уровень развития славян в VII—IX вв. Т. М. Калинина (Москва) привела малоизвестные данные о славянах, содержащиеся в арабских географических сочинениях. О. В. Иванова (Москва) проанализировала восстание 930 г. в Болгарии в свете болгаро-византийских отношений, подчеркнув, что массы болгарских переселенцев, захватывавших земли в Греции, постепенно превращались властями Византии в своих подданных и налогоплательщиков. И. Ф. Макарова (Москва), говоря об идее славянского единства у Григория Цамблака, отметила уникальность для того времени его мысли об особом характере болгаро-русского единства как родства не только конфессионального, но и этнического. С. И. Муртузалиев (Орджоникидзе) критически осветил работы русского ученого Гиргаса о правовом положении православных христиан в «европейской Турции» в XV—XVI вв. М. М. Фрейденберг (Калинин)

в докладе «Далмация и Италия в XIII—XV вв.» дал анализ типологии далматинских городов (Дубровник и остальные города), показал многообразие путей их развития и связей с Италией, обратив особое внимание на большой поток славяно-албанских переселенцев в Италию, вызванный трудностями внутренней сельской колонизации в югославянских землях, прежде всего по географическо-почвенным причинам. Е. П. Наумов (Москва) остановился на проблемах источниковедения и историографии Косовской битвы, подчеркнув, что она была рубежом, после которого южные славяне уже не могли противостоять Османской империи лишь своими собственными силами. В. П. Шушарин (Москва), говоря о славянских народах и мадьярах в X в. в районе Балатона, пришел к выводу, что славянская культура там не имела континуитета, а славянское население было дисперсно расселено на этнической территории венгров. Эти тезисы были оспорены Б. Н. Флорей, обратившим внимание присутствующих на существование на этой территории в IX в. княжества Коцела и на археологические памятники, приписываемые венгерскими учеными аварам, а советским археологом В. В. Седовым — славянам, что не позволяет считать вопрос окончательно решенным. А. В. Горизонтова (Москва) рассмотрела малоизученный аспект венгерской внешней политики — союзы с племенами полабских славян в X в. Г. П. Мельников (Москва) осветил эволюцию чешско-польских отношений в XIV в., трансформировавшихся из претензий чешских королей на польский трон в концепцию «старшего родственника» Польши, что нашло отражение как в хрониках круга Карла IV, так и в его дипломатической переписке. А. В. Рандин (Йопшкар-Ола) дал обзор дипломатических миссий гуситов, показав общее и специфическое в позициях различных гуситских лагерей, отсутствие единства в католическом лагере и особо остановившись на до сих пор загадочном посольстве гуситов в Константинополь. Многоаспектный анализ отношений Габсбургов к народам Центральной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. представил Ю. Е. Ивонин (Запорожье), рассмотревший эти отношения как с точки зрения экспансионистских и универсали-

стских планов Габсбургов, так и с учетом османской угрозы, нависшей над Центральной Европой.

Значительная часть докладов была посвящена отношениям России со своими соседями. Е. А. Мельникова и В. Я. Петрухин в своем докладе проанализировали легенды о призвании варягов в разных регионах Европы в контексте раннесредневековой дипломатии. Сопоставление аналогичных договоров с «рядом» («призванием») варяжской легенды позволило авторам предположить реальность последнего, тем более, что славяне и варяги в данном регионе имели общую цель — эксплуатацию территории и местного населения. И. П. Шаскольский (Ленинград) дал обзор отношений Руси с племенами севера Восточной Европы в IX—XIV вв., построенный по историко-географическому принципу, подчеркнув добровольный характер вхождения этих племен и народов в состав России. Докладчик особо отметил необходимость возвращения этим народам их самоназваний, измененных в 1920-х годах. А. В. Назаренко (Москва), сопоставив датировки русско-польского союза при Казимире I и Ярославле Мудром в различных источниках, предложил датировать женитьбу Казимира на киевской княжне, а тем самым и заключение союза между двумя монархами, рубежом 1038—1039 гг. А. Б. Головкин (Киев) рассмотрел внешнеполитические доктрины и представления Древней Руси до середины XI в., отметив их ориентацию как на византийские, так и на универсальные основы христианского мировоззрения. А. Л. Хорошкевич (Москва) предложила рассматривать конные печати Мстислава Удалого как источник по истории международных отношений Руси начала XIII в. Н. Ф. Котляр (Киев) проинформировал о важном начинании Института истории АН УССР — подготовке комментированного издания Галицко-Волынской летописи XIII в., в ходе которого возникла возможность уточнения датировок и коррекции интерпретации ряда явлений, событий и фактов. Это сообщение вызвало большой интерес участников конференции, приветствовавших новое издание уникального источника. Н. И. Щавелева (Москва) познакомила с сообщениями о Руси польских спутников папского легата Платона Карпини, совершившего путешествие к татарам в середине XIII в., в которых содержатся интересные, порой уникальные данные. Е. Л. Назарова (Москва) проанализировала ливонско-русские отношения в хро-

никах Ливонии XIV в. и пришла к заключению, что в них отражены лишь военные аспекты. Сложный комплекс русско-литовско-ордынско-крымских отношений осветил В. Д. Назаров (Москва), предложив свой анализ ярлыка Менгли-Герая Казимиру IV от 1472 г. Другому дипломатическому источнику — «Рассказу о посольстве в Россию» в 1569—1572 гг. финляндского епископа Юстена посвятил свой доклад Г. М. Коваленко (Новгород). С. Н. Плохий (Днепропетровск) привел интересные данные об использовании созданной римской курией Конгрегацией пропаганды веры украинских и белорусских униатов для миссионерской работы в югославянских землях в XVII в. Б. Н. Флоря подробно рассказал об истории переговоров о русско-польском антиосманском союзе в середине 1640-х годов, закончившихся, несмотря на стремление обеих сторон к войне с Османской империей, лишь соглашением о совместной обороне от татарских набегов. И. В. Галактионов (Саратов) осветил проблему русско-польского союза в дипломатической практике видного русского политического деятеля А. Л. Ордина-Нащокина. Подробный анализ действий русской дипломатии по претворению в жизнь идеи широкого антиосманского союза в начале 1670-х годов был дан в докладе Н. Н. Максимова (Москва). В. А. Брехуненко (Днепропетровск) остановился на роли и оценке казачьего фактора в системе международных отношений региона в первой половине XVII в., показав, что походы казачества в Крым были успешными потому, что они совершались в то время, когда сами татары предпринимали походы в Россию. Докладчик обратил особое внимание на конфликты между разными группами казачества, обосновал тезис о том, что запорожцы не приняли идеи борьбы с Речью Посполитой. Доклад как в целом, так и в частностях был направлен против многих стереотипов, сложившихся в историографии, но не опирающихся на источники. В этом плане аналогичным был доклад В. А. Щербака (Киев) о роли украинского казачества во внешнеполитических делах в XVII в.

В целом большинство докладов отличалось стремление к преодолению устаревших представлений и методик исследования, к комплексности и оригинальности подходов к проблемам, к снятию искусственных ограничений объектов исследования. Оживленная дискуссия по ряду докладов показала интерес к тематике конференции.

Мельников Г. П.

II КОНГРЕСС КУЛЬТУРЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

С 7 по 9 декабря 1988 г. в Катовицах проходил II Конгресс культуры польского языка. Конгресс открыл ректор Силезского университета профессор С. Климашевский; со словами приветствия к участникам Конгресса обратились: председатель Катовицкого народного совета проф. А. Щуровский, президент Польской академии наук проф. Ч. Костшевский, председатель народного совета культуры проф. Б. Суходольский, секретарь ЦК ПОРП А. Василевский, министр культуры и искусства проф. А. Кравчук и др.

Заместитель председателя государственного совета Патриотического движения народного возрождения проф. Е. Оздовский выразил надежду на то, что Конгресс тщательно проанализирует происходящие в польском языке изменения и результаты исследований по данной проблеме.

Состоянию языка, которым пользуются поляки, проживающие за пределами ПНР, посвятил свое сообщение проф. Б. Суходольский.

Председатель Комиссии по языкознанию ПАН проф. В. Смех в своем выступлении обратил внимание на то, что о роли языка в деле поддержания национального единства обычно говорят в торжественных случаях, в то время как главной задачей должна быть забота о чистоте слова в повседневной жизни, ибо язык — явление живое, подверженное постоянным изменениям и трансформациям.

Затем слово было предоставлено Первому секретарю ЦК ПОРП генералу В. Ярузельскому, подчеркнувшему, что язык развивается вместе с развитием общества и что процесс этот естественен и необратим. Дело лишь в том, чтобы каждая новая лексема, каждый новый фразеологизм оставались в рамках норм и правил словообразования и синтаксиса. Когда беднеет речь, — сказал В. Ярузельский, — культуре народа начинает угрожать опасность. В этой связи докладчик выразил надежду, что работа Конгресса будет способствовать лучшему осознанию недостатков современного польского языка.

В заключение В. Ярузельский выразил благодарность и признательность языковедам и писателям, актерам и журналистам, родителям и учителям, прививающим подрастающему поколению образцовый польский язык, а также всем полякам, не жалеющим сил, чтобы сохранить родную речь на чужбине.

Докладом на тему «Польский язык к 70-й годовщине независимой Польши» проф. С. Урбанчик начал пленарные заседания Конгресса. Кратко охарактеризовав развитие языка от момента получения Польшей независимости до наших дней, докладчик показал, какое влияние оказывают на язык социальные процессы, происходящие в обществе.

Затем выступил министр культуры и искусства проф. А. Кравчук, подчеркнувший огромное значение катовицкого Конгресса для польской культуры.

В своем докладе проф. В. Любась говорил о культуре языка поляков, подвергнув резкой критике «митингово-учрежденческую» речь, в которой имеет место значительное число неоправданных лексических неологизмов.

Проф. А. Фурдаль посвятил свое выступление основным проблемам культуры языка в нынешних общественных условиях. По мнению докладчика, средства массовой информации предоставляют возможность отдельным лицам обращаться к массовому зрителю, читателю и слушателю, но не всегда это делается изящно и правильно.

В своем докладе проф. А. Вильконь говорил о тех негативных последствиях в языке и языкознании, которые возникли в эпоху сталинизма. Он обратил внимание на отсутствие красоты языка в официальных выступлениях, а также на вульгаризацию языка у женщин, что, по мнению докладчика, может иметь плачевные последствия, особенно для детей.

Заседание второго дня работы Конгресса по тематике докладов охватывало разнообразные языковые проблемы, непосредственно связанные с Силезией. Из прочитанных докладов следует отметить: «Роль Силезского университета в сохранении культуры польского языка», «Народная лексика Силезии», «Язык художественной литературы, издаваемой в Силезии».

После прений работа Конгресса проходила по трем секциям:

1) разновидности современного польского языка (председатель — проф. К. Полянский);

2) проблемы языковой нормы (председатель — проф. А. Фурдаль);

3) польский язык в школе (председатель — доц. Э. Полянский).

Не имея возможности осветить все доклады даже в самом сокращенном виде, обратим внимание лишь на наиболее ин-

тересные, с нашей точки зрения, высказывания докладчиков на заседании 3-й секции.

Многие выступающие, отмечая низкий уровень владения польским языком абитуриентами гуманитарных факультетов вузов, говорил о том, что нельзя обучать языку, заставляя учащихся повторять чужие мысли, что контакт учителя с учеником должен строиться на началах доверия и взаимопонимания.

Выступающие вносили конкретные предложения, среди которых были и такие, как повышение уровня подготовки педагогических кадров, улучшение материального благосостояния учителей, издание различного рода словарей и других методических пособий для учащихся, превращение программ и учебников из обязывающих нормативов в рекомендательные пособия, из которых учи-

тель волен будет выбирать то, что он сочтет нужным.

9 декабря после пленарного заседания с информацией об итогах Конгресса выступил проф. В. Смех; закрыл II Конгресс культуры польского языка проф. Е. Оздовский.

Участники Конгресса познакомились с уникальной выставкой «Сокровища польской письменности».

В заключение следует указать, что в работе II Конгресса участвовало свыше 400 представителей науки, издательств, радио и телевидения, учителей, студентов, а также ученых из Италии, ФРГ, ГДР, Чехословакии. Советский Союз был представлен шестью участниками из разных научных центров: Ю. Дешериев, Г. Вервес, А. Афонина, А. Каупуж и В. Золотова, Ю. Гольцекер.

Гольцекер Ю. П.

КОНФЕРЕНЦИЯ «СИНХРОННОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ»

23—24 марта 1989 г. в г. Оломоуце (ЧССР) состоялась научная конференция «Синхронное сопоставление славянских языков», организованная кафедрой богемистики и славистики университета им. Ф. Палацкого.

В конференции приняли участие представители славистических и лингвистических кафедр университетов Чехословакии, сотрудники Академии наук, а также слависты из Болгарии, Польши, СССР, Югославии. Тематика докладов и сообщений была связана в основном с совершенствованием методики сопоставительных исследований, с выявлением «контрастных узлов» на различных уровнях славянских языковых систем.

Пленарное заседание 23 марта открыл М. Комарек (ЧССР) докладом «Аспекты контрастивного исследования». Я. Попела (ЧССР) в своем докладе «О типологическом сопоставлении родственных языков» рассматривал возможности приложения типологической теории В. Скалички для контрастивных штудий, обратив внимание на важность выявления типологических доминант и типологических тенденций. В. Стракова (ЧССР) сосредоточила внимание на типах контрастивного анализа, а также на проблемах межъязыковой асимметрии и типологической «компенсации». М. Затовканюк (ЧССР) подвел итоги полилингвального сопоставления функционирования при-

частий в чешском, словацком, украинском и русском языках, показав при этом, что словацкий язык превосходит прочие из названных языков в использовании личных форм глагола. Р. Мразек (ЧССР) посвятил доклад безагенсным структурам русского синтаксиса и их асимметричным соответствиям в чешском синтаксисе. А. Фурдал (ПНР) поставил проблему создания теории перевода для сопоставительной лингвистики. Я. Бычваров (НРБ) обратил внимание на проявления языковой динамики в современном болгарском и чешском языках (главным образом в области словообразования). Э. Лотко (ЧССР) в докладе «Типология и динамика современного польского и чешского языков» отметил, с одной стороны, более высокую степень флективности чешского языка, с другой — многочисленные проявления аналитизма в польском языке. Э. Токаж (ПНР) проанализировал способы блокирования предикатных актантов в синтаксисе словенского языка. Вывод о большей степени формальной конкретизации субъекта в модальных конструкциях чешского языка в сопоставлении с русскими (обычно безличными) сделал П. Адамец (ЧССР) в докладе «Соотношение между модальностью и референциальной выраженностью субъекта в русском и чешском языках».

24 марта работа конференции продолжалась в секциях, где были заслушаны

следующие доклады и сообщения: К. Песингерова (ЧССР) — «Некоторые вопросы языковой ситуации в ПНР и ЧССР после второй мировой войны»; О. Паламарчук (СССР) — «Чешский ономастический лексикон в украинских и русских переводах чешской художественной литературы»; Ш. Хайров (СССР) — «Знаковый и функциональный аспект исследования аналитической предикации в славянских языках»; Л. Стижко (СССР) — «Экспрессия разговорности в контексте чешского и русского художественного диалога»; Я. Бартакова (ЧССР) — «Словообразовательные механизмы экспрессивных наименований лица в словацком и чешском языках на славянском языковом фоне»; Г. Карликова (ЧССР) — «Экспрессивные выражения в славянских языках»; Т. Бауэрова (ЧССР) — «Значение разбора хорватоглаголических текстов для изучения славянских языков»; М. Панчикова (ЧССР) — «Сопоставление фонда новых слов в словацком и польском языках»; А. Трэмбска (ЧССР) — «Классификация метонимических сдвигов зна-

чения в чешском и польском языках»; М. Ладжевич (СФРЮ) — «Названия спортивных в сербскохорватском и словацком языках»; И. Янышкова (ЧССР) — «О названиях деревьев в славянских языках»; Я. Козликова (ЧССР) — «Категория определенности в русском и чешском языках»; Э. Выходилова (ЧССР) — «О некоторых проявлениях экономии в разговорном русском, чешском и словацком языках»; М. Гирхова (ЧССР) — «Средства выражения типов коммуникативных функций в чешском и русском языках».

Конференция завершилась докладами Р. Зимека (ЧССР) — «Сопоставление чешского и русского языков с точки зрения лингвистики текста», Б. Реяк (ПНР) — «Уточнение содержания фразеологизмов в процессе перевода»; И. Теплякова (СССР) — «Системное и функциональное сопоставление фразеологии славянских языков», В. Шауэра (ЧССР) — «Значимость синхронного изучения славянских предлогов для этимологических исследований».

Хайров Ш. В.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Orzechowski E.* Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych. Wrocław etc., 1989, 332 s., 16 ark. il.
- Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich / PAN. Inst. Słowianoznawstwa; Red. nauk. Popowska-Taborska H. Wrocław etc., 1989, 235 s.
- Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie: Zb. z vedeckej konf. / Zost. Sedláč I. Martin, 1989, 418 s., il.
- Pich J.* Antologie ze starší české literatury. Praha, 1987, 263 s. il.
- Podhorodecki L.* Stanisław Żółkiewski. Warszawa, 1988, 320 s., il.
- Polonia amerykańska: Przeszłość i współczesność / Pod red. Kubiaki H. Wrocław etc., 1988, 848 s., 2 ark. m.
- Polska — Francja: Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych / Górski K., Staszewski J., Wojtowicz J. et al. Wstęp i red. nauk. Tomczak A. Warszawa, 1988, 668 s.
- Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej / Wojsk. inst. hist. im. W. Wasilewskiej. Kom. red. Sobczak K. (przewodniczący) et al. Warszawa, 1988.
3. Polski ruch oporu 1939—1945. / Red. nauk. Kobuszewski B. et al. 1239 s., il., 56 ark. il.
- Problemy gospodarcze Drugeij Rzeczypospolitej. Warszawa, 1989, 440 s., il.
- Przybylski R. K.* Autor i jego sobowtór. Wrocław etc., 1988, 206 s.
- Radovi Zavoda za slavensku filologiju / Gl. i odg. ured.: Kekez J. Zagreb, 1987, 147 s.
- Ratkos P.* Slovensko v dobe velkomoravskej. Košice, 1988, 178 s. 16 l. il.
- Robotnicy Wielkopolscy w XIX i XX wieku: Warunki pracy i życia / Pr. zbior. pod red. Łuczaka Cz. Poznań, 1988, 483 s., 8 ark. il.
- Rohálik P.* Terminológia remeselníckej výroby v Nadlaku. Martin, 1988.
- C. I. Remesiá zamerané na potreby poľnohospodárskej výroby. 477 s., il.
- Schi'jman R.* Josip Broz Tito. New York etc., 1987, 112 p., il.
- Seredyka J.* Sejm z 1618 roku. Opole, 1988, 231 s.
- Skrzypek A.* Polska we wspólnocie socjalistycznej. 1956—1969. Zarys stocunków pol. lit. Warszawa, 1988, 231 s.
- Socialistický národ ako politický subjekt: Zb. štúdií / Ved. red. a zost. Kanis P. Br., 1988, 201 s.
- Sorbischer Sprachatlas / Bearb. von Faßke H.; Akad. der Wiss. der DDR. Inst. für sorbische Volksforschung in Bautzen. Bautzen, 1988, 348 S.
- Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku / PAN. Kom. prognozowania perspektywicznego rozwoju kraju «Polska 2000»; Projekt badawczoprognostyczny pod kierunkiem Goryńskiego J. Wrocław etc., 1988.
- Cz. I. Prognozy problemowe i działowe. T. 1, 445 s.; t. 2, 352 s.

CONTENTS

Korovitsina N. V. The Czechoslovakian History of Culture in the Post-War Social Science of CSSR: Approaches, Results, Problems. *Gudakov V. V.* Ivo Andrich's Diplomatic Activities in spring, 1941, and the Fate of the Yugoslavian Diplomacy in Nazi Germany. *Florya B. N.* The Relations Between Russia and Osman Empire and the Diplomatic Preparations of the Smolensk War. *Melnikov G. P.* The Formation of new Noblemen in Prague (Second Half of the 15th Century — First Half of the 16th Century). *Makarova I. F.* The Ethnik Problems in the Works of the Bulgarian Patriarch Euphimius. *Titova L.* The Russian-Czech Artistic Connections in the Late 18th — Early 19th Century (Music, Theatre, Fine Arts). *Maroyevich R.* (SFRJu). Between Vuk and Pushkin: Translations of Serbian Folk Songs by A. Ch. Vostokov. *Gippius A. A.* From the History of Interactions of the Regional Variants of Church Slavic in the Earliest Epoch (-*onts Forms of the Nominative Case of the Imperfect Participle). *Popovska-Taborska H.* (PRP). The Chronology of Common Slavic Phonetic Changes in the Kontext of Early History of the Slavs. 3

COMMUNICATIONS

Neshchimenko G. P. On the Multilateral International Cooperation in the Comparative Study of Slavic Languages. *Kabakova G. I.* New Researches of Family Rituals of the Balkan peoples. *Nemirovski Je. L.* The Ostrožskaya» Bible in the Monastery Libraries of Chernogoria and Serbia. *Ilushin A. A.* From Polish into Old Slavic Russian (on the Problem of Simeon Polotski's Translation of «Carminum variorum») 74

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Kostyashov Ju. V. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Учебное пособие для вузов в трех томах. Т. I. Эпоха феодализма. *Kirillova O.* Международная конференция «Социальная действительность и литература» (Материалы). *Mokiyenko V. M.* В. Кювлиева-Мишайкова. Устойчивите сравнения в българския език 96

NOTES OF BOOKS

Naumov Je. P. Илири и Албанци. Серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године. *Labintsev Ju. A.* P. Kennedy Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory 103

SCIENTIFIC LIFE

Prokofyeva D. S. International Conference «The Second World War in the Polish and World Literature». *Melnikov G. P.* The Conference Devoted to the International Relationships of the Slavs and Their Neighbours in the Epoch of Feodalism. *Goltseker Ju.* The Second Congress on the Culture of the Polish Language. *Hayrov Sh. V.* Conference «Synchronous Confrontation of Slavic Languages» . . . 106

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 10.10.89	Подписано к печати 06.12.89	А-08946	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 9,8	Усл. кр.-отт. 13,4 тыс.	Уч.-изд. л. 11,2 Бум. л. 3,5
	Тираж 1323 экз.	Зак. 3559	Цена 1 р. 20 к.

Адрес редакции: 121069, Москва Г-69, Трублиновский переулок д. 30а.
Телефон 290-27-40

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 20 к.

Индекс 70891